

Сцены из
МИНСКОЙ ЖИЗНИ

Повесть

*Шчаслівыя людзі, якія ўбеглі
аб бурнага мора
і ў прыстань увайшлі.
Шчаслівыя людзі, якія перамаглі бяду.
Непадобныя людзі адзін да другога
ні шчасцем, ні сілай.
Мноства людзей ёсць – і мноства надзей.
Іншыя шчасцем канчаюць, іншыя ж гінуць.
Хто сёння шчасліва жыве,
таго я шчаслівым лічу.
«Вакханкі» Эўрыпід**

Глава первая

1960 год.

Стадион, парковая яго часть. Заснеженныя плошчадкі і аллеі чорных дрэвьев. Ряды астрижженных кустов с белыми шапками. Шум города сюда не долетает. Тихо.

Уже недели две местная футбольная команда тренировалась на открытых теннисных кортах, и после лекций он приходил сюда каждый день.

Он смотрел, как игроки, растянувшись неровной цепочкой, сперва пробегали несколько кругов по неплотно утопанному снегу, почти бесшумно, и как перед каждой фигурой в синем тренировочном костюме равномерно появлялись свои облачка пара, – корты, обнесенные проволочной сеткой, со всех сторон плотно обступали высокие тонконогие деревца туи, и ветра здесь почти не было. Пока они после пробежки

* Перевод на белорусский с древнегреческого Юлиана Дрейзина для Белорусского Второго драматического театра (Витебск, 1926).

разминались, разбившись на группы, туго накачанные желтые и серые мячи лежали в середине площадки и выглядели на снегу очень легкими.

За кортами, в аллеях, деловито занимались своим ежедневным моционом пенсионеры. В их уединенном, сосредоточенном шагании было что-то всегда смущавшее его, какое-то спасительное, но невольно показательное прилежание, – при встречах он отводил глаза. Они же ни на кого не глядели: казалось, они даже и глазами слушают себя, свое дыхание, пульс, сердце, – слушают и следят, следят...

Но он знал, что когда послышатся тугие, глуховатые в снегу удары по мячам – буп, тбуп, – размеренное движение пенсионеров по намеченным маршрутам прекратится, они как бы случайно, между делом сойдутся вместе возле кортов и там уже останутся до самого конца, будут стоять, притопывая валенками в калошах, вынимая носовые платки и негромко переговариваясь. И в независимости их привычного сообщества что-то опять покажется подчеркнутым и нарочитым. Может, как раз та снисходительность во взглядах и улыбках, которыми они скрывают бодрящее их удовольствие от близости к азартной, резкой силе, к той карусели, понукаемой свистками тренера, истошно-умоляющими воплями: «Ну, вышел, вышел на него!» – где молниями мечутся мячи, разрывами взлетает под ногами снег после ударов и ходит ходуном, визжит железная заржавленная сетка.

«Будут стоять здесь, в этом уголке, среди большого города...» – подумал он и вдруг легко представил, как бы увидев сверху, в расширяющем пространство ракурсе: вот эти корты, и мелькание мячей, и рядом – горстка неподвижных фигур в черных пальто, и стадион, весь белый, пусто стынущий, его глубокий, рифленый трибунами овал, а дальше – не догадываясь, не подозревая о странной жизни тут, на скрытом в самом центре островке, – глухо, натружено гудит и будто мерзлым

чугуном скрежещет на трамвайных поворотах Минск, ноет моторами грузовиков, что, звякая цепями, тащат тяжелые покорные прицепы по улицам, которые давным-давно здесь звались и Гарбарной, и Извозной, Либавской или трактом Старовиленским, потом – Осоавиахимовской, Слесарной, и вот теперь уже – Гвардейской, Сталинградской... За стадионом в сизом низком небе видны черные толстые трубы ТЭЦ, а дальше, в той же стороне лежат огромные заводы с их новыми, похожими на небольшие города поселками – это все тянется сплошной громадой один и тот же город как продолжение себя не только на местности, но и во времени, в своем другом каком-то возрасте. И там уже не слышится эхо вокзала, которое в безветренные дни все еще катится по центральным улицам, как отцепившийся вагон, пока не остановится, не смолкнет, толкнувшись раз-другой у магазинов, где звонко взлязгивают молочные бутылки, когда их грузят в автофургон, откинув наверх заскорузлый и твердый на холоде, как толь, брезент.

Сколько всего, подумал он, должно было произойти тут, в этом городе, сколько должно было перемениться, чтобы теперь вот так, не объясняясь, не оправдываясь, уживалось в нем такое разное, со своим правом на значение и смысл: и почти школьный звонок башенного крана с близкой стройки, и равномерное кружение стариков в аллеях, и эти глуховатые удары по мячу среди зимы...

Прошло минут пятнадцать или двадцать. За сеткой, видел он, все уже разогрелись и работали с охотой. Уже не слышно было ни ленивого полупритворного нытья, ни капризных жалоб на якобы незалеченные травмы – только выкрики вратарю, чтоб обратить на себя внимание, и хаканье в момент удара. Приглушенные среди деревьев и снега, короткие трели тренерского свистка вспарывали тугой холодный воздух все реже и реже.

Беляева сегодня на тренировке не было.

Можно идти домой, подумал он. Нели сегодня тоже здесь не будет. Скорее всего, они сейчас где-то вдвоем. А он, такой вот умница, опять пришел. Как-то в начале октября, теплым солнечным днем бабьего лета он их случайно увидел на пустых трибунах: она держала на коленях аккуратно сложенный пиджак Беляева, а сам он, сняв туфли и вытянув ноги на скамейку нижнего ряда, шевелил в носках пальцами. И он тогда понял, что они давно вместе, а может, и не очень давно, но старался убедить себя, что это уже не имеет для него никакого значения...

Он двинулся по тропинке в снегу вдоль сетки. Впереди плотно чернела группка уже занявших свою позицию пенсионеров. Если хоть двое-трое из них топтались тут, он не казался себе чересчур заметным для Нели, торчащим здесь в одиночку, специально из-за нее. Можно было кивнуть ей и не разговаривать, если она не хочет. Только следить украдкой за выражением обращенного к площадке ее лица, с чуть припухлыми, какими-то чуждо-алыми от помады губами в поднятом воротнике старенькой цигейковой шубки... Следить за этим выражением, преданным и счастливо-зависимым и восхищенным, – и видеть, как легко и радостно она не помнит, просто и знать уже не знает ничего о том, что было прошлым летом. Если, конечно, это было, – самому не верится. «И никаких следов, и никаких следов...»

Он сделал еще несколько шагов и тут увидел, что Вадим Беляев стоит среди обступивших его черных пальто, и с ним там еще кто-то. Тогда он подошел и стал вполоборота к кортам, будто с начала тренировки так и стоял, сам по себе.

В просвете между спинами он видел и Беляева, и того, другого. Тот был гораздо ниже ростом, в меховой шапке пирожком, надетой набок щегольски неглубоко и осторожно, чтобы не смять прическу. Он улыбался и щурился, зажав в углу рта папиросу, и розовато-желтой полоской отсвечивали зо-

лотые коронки зубов. Был он заметно старше Беляева, кожа его худого резкого лица в улыбке трескалась сухими, острыми морщинами, особенно у глаз и возле рта, и тогда в лице еще сильнее проступала усталая, с блатным налетом опытность.

Он знал такие лица.

Вадим Беляев был в кепке с большим мягким верхом и в сером пальто. Привычно и быстро взглядевшись в его знакомое, чистое и порозовевшее на холоде лицо, он с завистью отметил, как идет ему светло-серое, в крупную клетку кашне, и стал прислушиваться. Говорили о прошлогодней игре в Куйбышеве с «Крыльями Советов».

Он слушал и в который уже раз пытался вызвать у себя ненависть или хоть раздражение, злость к этому высокому красивому парню, с которым никогда и слова не сказал, но которого знал уже так, что ни за что не спутал бы ни с кем из тысячи похожих, даже издали.

Он знал его походку, жесты; сидя на трибунах, умел заранее и безошибочно представить, как он сыграет в тот или иной момент. В прошлом году, случайно оказавшись рядом с ним и игроками их команды в фойе кинотеатра «Беларусь», где мать работает администратором, он услышал и хорошо запомнил, как Беляев говорит: чисто по-русски, быстро и в то же время как-то растягивая «а» в словах, будто нараспев, – непривычно для их города.

Он знал, что Беляев старше его лет на пять. Этот парень вызывал в нем интерес и нравился – как нравится, бывает, человек, с которым даже и знакомиться не собираешься: это не нужно – просто приятно видеть его, узнавать в толпе и отличать среди других везде, где только встретишь. Так было до тех пор, пока не увидел его с Нелей.

Сам он тогда еще не смел к ней подойти, заговорить, хотя она жила в его квартале, – мучаясь робостью, кивал ей как соседке, а потом долго шел следом, боясь, что она может обер-

нуться, и в то же время этого хотел. Высматривая Нелю вечерами на их улице, он увидел однажды, как Беляев провожал ее домой. Той же весной, через неделю, кажется, он выследил ее, когда она спешила к бассейну Дома офицеров, и, обманув дежурную, забрался на балкон.

Дыша там теплым влажным воздухом, пахнущим хлоркой, он стоял, прислонясь к запотевшей колонне, и старался принять равнодушный и независимый вид, а чувство было такое, точно все тут, на балконе, даже и школьники из плавательных секций, сразу же поняли, зачем он оказался здесь, из-за кого пришел. Но когда Неля появилась на краю бассейна, рослая, в черном купальнике, без шапочки, с мокрыми после душа волосами, отливающими тусклой желтизной, у него запыло в груди и он выключился из всего, даже не слышал больше гулких, как-то по-банному звучащих голосов и шумных всплесков. Такой он видел ее в первый раз.

Не отрываясь, с полчаса глядел он, как Неля плавала, как сильными, упругими толчками двигались под чуть зеленоватой водой ее ноги с нежно розовевшими пятками, как равномерно опускалась и снова появлялась над водой ее мокро блестящая голова, похожая теперь на голову выныривающего котика или морского льва. Но оказалось, что не он один пришел сюда смотреть на Нелю. Он вдруг заметил слева от себя Беляева, и с ним был кто-то узколицый, в малинового цвета пиджаке, почти таком, какие были на музыкантах Эдди Рознера, недавно приехавшего сюда впервые после войны. И вот он даже и сейчас еще отчетливо мог вспомнить ту ухмылку, с которой этот, в пиджаке, что-то нашептывал тогда Беляеву, поглядывая вниз, – а Неля уже выходила из воды, – ухмылку скрытую и осторожную, но с явно нехорошим, нечистым смыслом. Беляев же не отвечал, только смотрел на Нелю – спокойно и уверенно, будто уже имел на нее право.

Сейчас, стоя у сетки, ограждавшей корты, и поглядывая на Беляева, он думал с горечью и острой стыдной завистью: «И вот она – с ним».

А ненависти к нему почему-то не было. Он чувствовал, что скорее мог бы возненавидеть вот этого его морщинистого приятеля с золотыми зубами – очень уж он напоминал того, в малиновом эстрадном пиджаке, особенно когда усмехался.

Начали мерзнуть пальцы на ногах. Но тут Беляев и его приятель собрались уходить, и тогда он тоже решил идти домой, только немного выждать, чтобы не получилось, будто он идет за ними следом. Беляев, видно, был сегодня освобожден от тренировки.

Выйдя из ворот стадиона, он увидел, что они свернули влево, в сторону гостиницы, и стал переходить улицу. Жесткий, колючий ветер дул в лицо. Он вспомнил, как сейчас Беляев рассказывал пенсионерам об игре минувшего сезона в Куйбышеве, и словно бы увидел все это: серая завеса дождя, раскисшее поле, и ничего не выходит, все огрызаются и злятся друг на друга, и сам Беляев, устало опирающийся о штангу перед угловым ударом возле их ворот – уже не легкий и светлоголовый, а в тяжело набрякшей от воды и пота майке, с грязными, прилипшими ко лбу волосами, и даже номера не видно на спине, не то что капитанской повязки, – а тут опять нужно подстегивать, кричать своим, чтобы скорей оттягивались назад и стерегли настырно лезущих чужих защитников, уже почуввавших свой шанс... Он уже столько раз видел похожее или точно такое с трибун Республиканского или в парке имени Горького, со скамеек древнего «Пищевика»...

В какое лето они с Мишушей стали ходить на стадион, сразу не скажешь. Скорей всего, была уже та жизнь: девятый класс, все как-то по-особенному закружилось, полетело и чем-то новым, неизвестным стало овеять.

Пошли уже компании, записочки-записки, серые кепочки с коротким козырьком – знаки отличия своих, из городского центра, от прочей публики, особенно жлобов.

Дни после школы, вечера на улицах, в подъездах запахла остреньким дымком неведомой свободы, не то запретной, не то разрешенной с занудливым условием, с нытьем. Весной лихие сквозняки на лестничных площадках, как сумасшедшие, били стекла (то ли посуда так со звоном билась, падая из маминых дрожащих рук, – если бы к счастью!). Веяло риском, так и пронимало этим колючим холодком. Казалось, вот-вот начнется что-то, чему уже не будет никогда конца. И страшно-вато делалось, и – не остановиться. Будто пустили карусель, и не сойти.

И тут как-то Мишуша, дядя Миша, мамин брат, позвал его с собой на футбол.

Бурлящий, яростный круговорот стадионной жизни и оглушил его, и показался уже чем-то знакомым. Всю целиком эту жизнь как следует увидеть и понять не удавалось, хотя она как навалилась еще там, на дальних подступах к трибунам, возле касс, так уже больше и не отступала, со всех сторон теснила и несла, держала, ахала над ухом, обмирала и ярко мельтешила – даже начинало рябить в глазах... А в перерыве между таймами перед трибунами понеслись что есть духу бегуны (крепкий и крупный хруст иссиня-черной гаревой дорожки под шипами), а потом музыка из репродукторов, и старый джазовый мотив вдруг неожиданно волнует, будоражит, а вместе с этим чувствуешь и бешеный напор еще неясной, непонятной новизны, и что-то грезится, мгновенное, летящее, что-то зовет, зовет, и ощущаешь сладкую тревогу, решительность, и для всего открыт, так много любишь, все на свете можешь...

Потом Мишуша трогает за локоть и говорит: «Смотри в штрафную, Юра, когда corner... Ты не на угол, а в штрафную... Видишь, что творится?»

А здесь, в нижних рядах, вблизи от поля, прохладный резкий запах сочной травы, раздавленной ногами игроков, и полукруг дальних трибун напротив уже плывет в синеватой папиросной дымке уходящего дня, хотя предвечернее солнце еще ярко золотит верхушки тополей над краем стадионной чаши.

И в следующий раз все повторяется: опять Мишуша, щуясь, в азарте закусив губу, бросается в кипящую толпу у касс и пропадает, и уже кажется, что все, не вынырнет. Как вдруг: рука над головами и билеты – «Юра!» – ладонь горячая и мокрая, желтые смятые бумажные полоски – есть!..

И давка на контроле, лихорадка, пронзительные милицейские свистки. Мишуша – сама сдержанность, порядок; галстук веревочкой, соломенная вежливая шляпа. И красный, как из бани, контролер во взмокшей тенниске, выставив синюю татуированную руку, злым и довольным от чего-то голосом: «Не напирайте! Дайте ж человека пропустить!» И они быстренько протискиваются мимо него в дыму, в запахах пота, выпивки и семечек.

Потом, когда все кончится, – назад, в тесном потоке медлительных, размякших спин, и кажется: вот этот и вот тот уже тебе знакомы, и сам готов уже с любым заговорить.

А день уходит, и скоро вспыхнет свет матовых шаров в густой зелени скверов, и теплый свет в раскрытых окнах (чей-то там легкий, быстрой тенью, силуэт, задернутая занавеска), – скоро везде будут гореть огни.

Но не сейчас. Сейчас еще вот этот мягкий переход, ни день – ни вечер: воздух сиреневый, тени сгущаются, жара спала; словно очнувшийся после оцепененья, звенит трамвай, и с проводов спадают медленные огненные хлопья...

Или короткий дождь; они пережидают где-нибудь под аркой, а потом он провожает Мишушу в сторону вокзала и там, купив перронные билеты, они устраиваются под полот-

няным тентом возле первой платформы. Мишуша пьет свое пиво и курит, очень охотно, даже как-то жадно вступая в разговор с незнакомыми людьми, разбирая с ними и смакуя разные моменты недавней игры.

Но всегда кажется, что он слегка подделывается под других, спешит поддакивать и соглашаться, как будто в чем-то виноват, или же помнит, что чем-то отличается от них и беспокоится, чтоб эта его непохожесть не была заметной, чтоб разговор и дальше шел, как начался... А рядом прохаживаются в ожидании поезда встречающие, мокрый асфальт отсвечивает бликами огней, и все станционные запахи слышны в прохладном, свежем после дождя воздухе отчетливо и остро...

Откуда было знать, что все это заполнится вдруг ею, Нелей, и станет вместе с ней чем-то одним, понятным без слов, будто всегда и было так, – только не думалось, не замечалось. Да и сама она – так выступить из всего прежнего, привычного, обыкновенного: видишь, не видишь – все равно всюду она... Жила всегда, сто лет, на той же улице: зимой мелькала в магазине в большом, концами на спине завязанном платке, с авоськой, летом носилась по дворам, когда темнело, сзывая своих меньших братьев и сестер, – светлая челка на глаза, мелькает забинтованная щиколотка, точно второй белый носок не успела натянуть... (Может, и думалось когда про ее ноги, про колени, только совсем не так, как вот теперь, не так). И вот уже – возле кино, с каким-то морячком, совсем чужая, незнакомая, как если бы надолго уезжала, – и поздоровалась серьезно, точно старшая, точно хотела что-то дать понять... И уже раз за разом, когда попадалась на глаза, что-то такое чувствовалось в ней, странно притягивало и смущало.

Шурка Волчок – кажется, он? – первым сказал, что ее видели на танцах в Доме офицеров. А потом школу то ли совсем бросила, то ли сменила на вечернюю.

Все, что было с ней связано, стало вдруг как-то само собой узнаваться. И то, что ее мачеха, Кира Игнатьевна, опять уехала куда-то и что опять у них был скандал, и то, что Неля одолжила денег у кого-то из соседей, а выпивший отец кричал потом, чтоб ей давать не смели, угрожал... Только не думалось об этом почему-то, а думалось, как плавно округляется книзу ее лицо, как видна шея и как слегка наклоняет она вправо голову, когда идет, а темные («пушистые», хотелось говорить) глаза смотрят и весело, и как бы удивленно.

Встречать ее, здороваться с ней уже нравилось. И остро, с чем-то стыдным, волновало все новое, что появилось в ней. Казалось, что она, ходившая недавно, как все они, в девятый, взяла и смело оторвалась от них, вошла во взрослую, без школы, жизнь, уже понятную, но им еще не разрешенную.

И, видно, мать что-то почувствовала (и, как всегда, раньше, чем сам ты успеваешь сообразить и дать себе отчет, – это у них необъяснимое и действует без промаха).

Потому что однажды, как ему показалось, ни с того ни с сего он услышал:

– У них там вся семья такая, что... Если хоть раз тебя увижу с нею – пожалеешь.

Сказала и, сама не зная, обозначила, определила все то неясное, чего и не было еще, не начиналось, но что в тот миг, может, вот именно от этого и дернулось внутри тайной и жутковатой радостью, надеждой, – будто бы только ждало случая и вот дождалось наконец.

Когда свернул после пожарной за угол, на свою улицу, привычно подобрался. Что-то знакомо напряглось внутри, но скоро отпустило. И мимо низкой арки, в вырезе которой, будто сквозь темное нутро трубы, был виден Нелин двор с прикрытой снегом грудой битых кирпичей, шел совсем медленно, не то что видя – заранее каким-то непонятным чувством угадывая и уже точно и спокойно зная, что – нет, опять не встретится, не попадется на глаза, даже и не мелькнет.

А в их дворе стояла старая полуторка, нагруженная торфяным брикетом.

Мишуша, без пальто, с длинно мотающимся шарфом, дергался всем телом снизу вверх, скользил галошами в снегу, стараясь отогнуть обеими руками задвижку борта. А кто-то высоченный, в рыжем кожухе, стоял одной ногой на заднем колесе, вытаскивал шувель из кузова.

И уже шла от дома мать в накинутом на плечи бабушкином ватнике, в платке, и громко говорила, сдерживая раздражение в голосе:

– Ну, Миша, обожди, откроют без тебя!.. Привез – и молодец, чего так надрываться?..

И была во всем этом такая понятная и приятная будничность чего-то очень своего, родного и всегдашнего, что он почувствовал, как отступает, будто отменяется, все путаное, нерешенное, державшее его в томящем беспокойстве всего лишь несколько минут назад.

Глава вторая

Комната в квартире Антонецкой.

Оба окна выходят во двор. Видны крыши сараев с поседевшим снегом. В черных ветвях берез грузно сидят, словно набрякшие от сырости, вороны. Оттепель.

В комнате серый свет. Все за обеденным столом.

– ...и раньше так. От книжек дома не оттащишь за уши, а в школе – тройки вдруг. А был уже десятый класс... Ну что там, в аттестате, могли выставить? Когда-то думала, что на медаль пойдет...

– Черт с ней, медалью, Лида.

– Черт, говоришь? Ну да, тебе и на самого себя махнуть рукою хочется. Я вижу.

– Лида...

– Я вижу, вижу, Миша! Только не хотелось говорить.

– А ты скажи.

– Скажу! Чего ты ставишь на себе все время крест? Вспомни, какой сейчас уже год? Ну, и слава богу. А ты все вихляешься среди людей, как без хребта. Людям, может, и не видно, у каждого свое. Так я же вижу, Миша!

– Лида, ну что ты?..

– Слишком ты мягонький какой-то стал. И ничего, смотрю, тебе не нужно: пусти – повалюся. И эта... Эта доброта твоя... Глаза на мокром месте – выпьешь, не выпьешь – все равно...

Мишуша отвернулся, вскинул голову, смотрел куда-то в верхнее стекло окна. Его кадык опустился, снова стал на место. Мать примиренно, но еще не успокоенно вздохнула:

– Ну, а потом... смотри, от этого,– она легонько вилкой тронула рюмку Мишуши, – еще никому не было добра, сам знаешь.

– Знаю, Лидуся, знаю. И давай прикончим. – Мишуша взрыхлил волосы обеими руками, быстро придвинул ее рюмку, но сперва налил себе.

– Ладно, налей и мне уже чуть-чуть,– мать сделала вид, что ищет что-то на столе и, заметив вопрошающий взгляд бабушки, сказала:

– Хлеба нам хватит, мама? Или мне подрезать...

– Так я сама, сиди, – подхватила бабушка. – Ты выпей, выпей. И Мише как раз меньше будет.

Она заулыбалась им обоим, очень довольная, что так все кончилось. А он, взглянув на мать, Мишушу и потом опять на бабушку, не мог не улыбнуться ей в ответ – видел, как ей хотелось, чтобы заметили ее ловкую шутку.

Он налил себе в чашку молока. Мишуша ободренно приготовился над рюмкой, мать уже ставила свою на стол, морщась и с плотно сжатыми губами, не дыша.

– Сейчас, Лида, сейчас, – бабушка стала резать хлеб, прижав его к себе, склоняясь над ним, – и полбуханки, темно-коричневой, с гладким отливом черного запеченного верха, почти что спряталось в ее переднике, вошло в нее, – и вот оттуда, из самой себя, она подала маме ровный, слегка прогнувшийся посередине ломоть.

Он сделал первый, самый вкусный и большой, холодный глоток молока из своей синей чашки, глядя, как бабушка все нарезает хлеб. «И не порежется...» И вспомнил, как недавно удивился, когда увидел, лежа в гриппу, что она вдруг не то чтобы взобралась, поднялась, а вот прямо-таки взлетела с табурета на край низкого шкафчика у печи, чтобы, вытянувшись, глухо хлопнуть вьюшкой и тут же снова оказаться внизу, – сухонько-легкая, бесшумная, все равно как... «как черт», – хотелось ему в тот момент сказать, но он нарочно повторил про себя дважды, что нет, – как кошка или белка.

«Она еще проворная, проворная...» – подумал он теперь, чувствуя, что успокаивает себя в чем-то, и не желая думать, знать об этом больше ничего.

– ...еще б жениться мог, – сказала мать, не глядя на Мишушу.

– А что, а что, я ему тоже говорю, – крутнулась бабушка на стуле и, убрав руки со стола, вся повернулась к маме:

– Лида, я Виктю вчера видела...

– Ну, мама, – с деланным укором густо протянул Мишуша, но бабушка только махнула в его сторону рукой.

– Значит, прихожу вчера я в магазин за синькой...

– Во-во, про синьку лучше, про зеленку, – Мишуша уже смеялся, откинувшись на стуле, уже рокотал своим прокуреным, хрипловатым басом, показывая редкие коричневые зубы, и голос его тоже казался коричневым.

А он допил молоко, вышел из-за стола и прилег на твердую узкую бабушкину кушетку в углу комнаты, под большой пестрой картою Европы.

Круг разговора за столом, тот хоровод привычных голосов, где он, казалось, давно знал каждую нотку, все продолжал свое вращение, то убыстряясь, то перемежаясь паузами; но сами паузы тоже полны были слов, только что сказанных сейчас. И не слова, знакомые здесь всем и повторявшиеся, пусть на разный лад, но уже столько лет, – нет, не слова тут были главным, не они сами. А то, наверное, что было давно забрано в их круг – мамой, Мишушей, бабушкой... И он, наверное, тоже каким-то образом входил туда, включен был в этот круг – давным-давно и навсегда уже, что бы ни случилось.

– Перед войной тогда крутил, крутил все носом, выбирал, – тихо и быстро, как себе одной, бубнила бабушка. – Та не по нем, и эта, и другая. Ну, а теперь что говорить.

– Я и молчу, – сказал Мишуша весело. – Вы говорите.

– Мы говорим, мы говорим... – начала бабушка и что-то оборвала, не пустив в слова. – Потерпишь, мне уже не долго говорить осталось... – Лицо ее сморщилось, она беспомощно заморгала.

– Мама, не плачьте, было бы из-за чего, – Мишуша заскрипел своим стулом. – Ну, а тогда я молодой, дурной немного был... Жить собирался вечно. Помнишь, Лида?

И он опять уже смеялся, глухо и добро бухал, как в кадушку, своим кашлем.

Бабушка высморкалась. На пол со звоном упал нож. Мишуша кашлянул еще, умолк.

Ты чаю выпьешь? – медленно вздохнув, спросила его мать.

– Конечно. Вы ж тоже будете?

Мишуша встал, пошел по комнате, чиркая раз за разом спичкой, остановился у кушетки, над ним.

– Ну-с, наш студент... И как дела?

– Нормально. А что у тебя?

– А у меня всегда нормально, ты же знаешь, – Мишуша улыбнулся и добавил со смущением и как-то виновато: – Ты,

Юра, не особенно уже тут слушай наше все... Я вот опять чуть не завел шарманку про старое...

– Нормально все. Что тут такого? Я понимаю.

– О! – Мишуша выпрямился и с шутливой значительностью поднял указательный палец. – Ты понимаешь. Это главное. И я иду курить.

За окном урчал мотор. Наверное, заехал на обед Макс Миленький, таксист из их двора. Подумалось о том, что как-то рассказал Мишуша: как Миленький чудом остался жив в шеренге военнопленных перед встретившимися на полевой дороге эсэсовцами. Опять представились запыленные фигуры измученных, ослабевших от ран людей в грязных, спекшихся на жаре повязках и потные небритые лица конвойных... И как после команды двинувшегося вдоль шеренги эсэсовского офицера стали выходить из нее те, кто был не «юда» и кому пока давался еще шанс на какую-то жизнь. Увиделось, как отрезанно и отдельно от всего вокруг остались сзади, на своих местах, несколько обреченных и как Миленький, мгновенно решившись, внешне безразлично, не медленно, но и не быстро сделал от них вперед те словно не свои четыре шага и стал с теми, кого поведут дальше. Стал, никуда не глядя, ни во что еще не веря, готовый, наверное, к отбрасывающему назад удару прикладом в грудь или в лицо. «Еще не веря, ни о чем не думая в тот миг», – повторил он про себя и тут же решил, что нет, это могло быть и совсем не так: Миленький в тот момент, скорее, думал, но лихорадочно и сразу обо всем; наверное, в уме его мелькало и мешалось разное и только не было той мысли – «буду жить?» – которую он бы не вынес и этим обнаружил бы себя, пропал, да еще прошел бы перед смертью на глазах у всех через уничтожающее издевательство...

Он подвинулся выше на заскрипевшей бабушкиной кушетке, лег поудобнее. И уже не прислушиваясь к голосам из-за стола, только привычно допуская их к себе и не противясь им,

как не противишься всему, среди чего родился и живешь и что всегда остается самим собою, на своих местах, вышел ли ты из дома, уехал впервые в чужой город на школьные состязания или просто лег спать, – весь отдался приятно-монотонному звучанию этих голосов и прикрыл глаза.

Под веками плыли зеленые и оранжевые пятна равнин, плато, горных массивов, что так наглядно, ярко были распластаны напротив, на стене картой Европы. Если б не карту, а по-настоящему все сверху увидеть, при солнце... Все это было бы таким красивым и тогда? Когда вот тех расстреливали на полевой дороге?.. Дорога от жары, наверно, белая была, и небо тоже белое от ослепительного солнца... Неба они тогда не видели, уже и знать не знали. И солнца для них тоже не было тогда...

Мать все твердит Мишуше: «Нет у тебя характера». А он выжил в концлагере. Он говорил, по-разному там можно было выжить иногда... А сам – без никакого «разного», это же сразу видно. Только вздохнул как-то: «Или я смог, или мне просто повезло немного».

Однажды рассказал, что часто приходилось прикидываться на работе жестокими, злыми – лица такие делать специально для Кляйне, помощника их лагерного коменданта. Этим театром, говорил Мишуша, занимались, если заболели, – чтоб Кляйне не заметил. А то приходит, смотрит, будто изучает, потом кого-нибудь наметит – и давай: «Тибe скоро капут. Яа, яа! Ты уже ест мертвый, – и ставит в воздухе перчаткой крест на человеке. – Сам винофат». И тут начнет свое всегдашнее: «Жизн надо... этто... любить. Надо брать сам. Энергишно, энергишно! Надо: ар-pp! ар-pp!, и показывает, как рычит овчарка: вгрызается сам в воздух ощеренным ртом, вытягивает жилистую белую шею, а потом смеется: – Яа, яа! Ха-ха-ха!.. Понимайт?»

Этот рассказ Мишуши сильно так запомнился... Когда пошли классом в музей, он увидел там фотографии людей за

проволоккой в одинаковых полосатых одеждах и с почти одинаковыми мертвенными лицами, – их головы казались слишком большими для тонких, как палки, туловищ. А рядом был тот снимок длинной очереди мужчин и женщин с детьми: все еще в своей одежде и с вещами, видно, с поезда; их пропускали или направляли куда-то солдаты с овчарками. И он тогда смотрел, смотрел – и вдруг представилось, отчетливо до ужаса, как будто и вправду было: сам он и мама на той станции, в колонне перед сортировкой. И как спастись, как уцелеть? Неужто всем стараться выглядеть там «энергично» и придавать себе то выражение жестокой силы, которое так нравится этим кляйне с собаками и по которому они, точно по пропуску, направили бы их не в камеры, к печам, а сперва в лагерь, для работы? Но кто бы из людей в колонне смог бы так выглядеть? И мама не смогла бы, не смогла бы. И вот ее рванули бы куда-то в сторону – а он разве бы отпустил, разве отдал бы ее?.. Нет на свете такой силы...

Открыв глаза, он с облегчением освободился от всего привидевшегося, как от жуткого навязчивого сна.

Лег поудобнее, лицом к стене.

– Ох, дети мои, дети, куда мне вас подети, – вздыхала бабушка, бормоча свою вечную приговорочку и переставляя что-то на столе. Тихонько звякали чайные ложки.

Как странно, думал он, сколько всего из разных жизней может и слышаться и видеться в одно и то же время. И даже то, чего и не было, а ты только представил, – даже оно, значит, с этой минуты уже – есть. Иначе бы ты просто ничего о нем не думал. Да, хоть на миг, для одного тебя, но это уже происходит, происходит... И может, как-то добавляется к тому, что существует и для всех?..

Было уже знакомое ощущение какой-то приближающейся и наконец-то поддающейся, сильной для него мысли, готовой разом объяснить, обнять собой так необычно много.

Даже вот те мгновения чужих жизней, которые, запомнившись или придумавшись, затем в случайной очередности встают перед глазами – точно и сами хотят знать, зачем их вызвали, зачем их выхватили из всего, с чем они где-то составляли свое целое. Но, как всегда, через минуту это ощущение ушло, растаяло.

Потом, наверное, он незаметно для себя уснул, а может, только задремал – на полчаса, не больше, как ему казалось. Но все равно очнулся уже с легким беспокойством, с которым просыпаешься после дневного неожиданного сна.

В комнате снова были те же голоса.

– Да, Миша, можешь обижаться на меня, – мать говорила тихо, как говорят при спящем в комнате. – Хоть и обидишься, а я тебе скажу: человеку надо уметь себя поставить.

И голос Мишуши, непривычно серьезный и сдержанный:

– Поставить... А перед кем? Зачем?

– Вообще. Что я тебе тут буду объяснять. Даже перед своими – тоже. Я не себя имею в виду...

– Перед своими?

– А что? Хотя бы перед Юрой вот... Ты с ним – на равных, как будто из одной компании. А в доме нет мужчины. Мне с мамой ни заметить, ни сообразить всего, что с ним. Что год – то все как-то отдельнее, отдельнее. Уже семнадцать вот, а что я знаю про него? Он все молчит, куда-то ходит, ходит... А тебя любит, да. Так ты вместо того...

– Что – я?

– Мог бы иначе с ним себя держать. Ну, тверже, что ли...

– То есть?

Ты вот души не чаешь в нем. А чтобы оказать влияние, надо, наверное, не так уж открыто, откровенно... С достоинством. Даже дистанция какая-то, наверное, нужна. Ах, что тут говорить!.. Ты понимаешь сам.

– Я понимаю, Лида, понимаю. Только понимаю так: если

я должен, как ты говоришь, уметь себя поставить даже и перед своими...

– То что? Ну, договаривай же, договаривай.

– Значит, и ставить незачем уже. Не вижу смысла, понимаешь? И не научусь. Мне уже поздновато.

– Как ты умеешь доказать себе...

– Лида, пойми, нельзя же быть к кому-то всей душой и вечно думать, как себя поставить, чтобы не понизиться в какой-то там цене.

А он, слушая это, спохватился, что лежит с открытыми глазами и тут же снова их закрыл. Быстрое, осторожное движение послушных век не прервало, не спугнуло наступившего после слов дяди молчания. Оно все длилось, и тогда он медленно поднялся, двинулся к двери.

– А! Проснулся, Юра...

Он слышал: мать это сказала, чтобы хоть что-нибудь сказать. И притворно-участливые, чуть виноватые нотки ее голоса подействовали особенно раздражающе.

– Нет, не проснулся! – обернувшись, сказал он злорадно-отчетливо, глядя прямо ей в лицо.

Она тут же опустила глаза, и лицо у нее стало таким растерянным и обиженным, что он, как и всегда в похожих случаях, ощутил не свою, а словно бы ее победу над ним. И уже почти жалея обо всем, но зачем-то еще цепляясь за остатки мстительного чувства, он добавил – подчеркнуто не ей:

– Мишуш, не уходи, а? Я сейчас вернусь.

Глава третья

Снова квартира Антонецвичей.

В углу, за выдвинутым на середину комнаты обеденным столом, высокая разлапистая елка. Ее еще не наряжали.

В доме предпраздничная суета.

Ждали Мишушу, а тот все не шел.

– Ясно, что где-то застрял, просто не может без этого, – мать вошла из кухни с молотком в руке. – Юра, прибей хоть ты нам эту вешалку в передней... Надоело... И сядешь потом тут, чтобы не мешать. Я мокрой тряпкой пол пройду. И глянь, что с антенной.

Вернувшись в комнату, он сел возле приемника. Шкала уютно осветилась, стало попискивать, трещать. С антенной было все в порядке. Но мать уже была заметно взвинчена, и он решил ей ничего не говорить.

Он нашел музыку, когда из кухни донеслось:

– Мама, я знаю!.. Я уверена! И ты, пожалуйста, не защищай. Он же никому не может отказать!..

«Ну, так и что из этого?» – вдруг захотелось крикнуть за Мишушу, но он не крикнул и через минуту был уже доволен, что сдержался.

Раньше так не было, подумал он с тоской. Раньше все было как-то лучше. Проще, что ли... Он чуть прибавил громкости и двинул стрелку дальше по шкале настройки. Возле «Варшавы» заиграл аккордеон.

...Жили все вместе, в старом деревянном доме на улице, вымощенной булыжником. В том доме было два крыльца, две половины. Одна – некрашенная, с зелеными полосками бархатного моха в черных бревнах, – была домом Мишуши. Тут стали жить, когда освободили город, – мать, бабушка и он. Потом и дядя Миша появился, и получилось, будто не они, а он пришел к ним в дом.

Здесь были две малюсенькие комнатки: это сам дядя так разгородил свое жилье перед войной. («Можно подумать, что жениться собирался», – как-то сказала мать.)

Своего же дома они даже не нашли тогда. Пришли откуда-то из пригорода – кажется, под вечер. Танки стояли на улицах, машины, люди кучками. И кто-то пел. Играли на баяне.

Мама и бабушка все повторяли: «Наши!.. Наши!..» Вдруг выбежал на них какой-то человек в комбинезоне с черным, покоробленным ведром – лицо широкое, глаза, как щелки, узкие и длинные – и, засмеявшись, как-то не по-русски, хотя понятными словами, закричал:

– Вада-вада нам нада, панимаешь?..

Бабушка быстро закивала и закутилась на месте, шмыгая носом и хлопотно морщась, ткнула рукой в одну, в другую сторону, и сбилась, растерялась. А тот уже и пробежал, исчез.

Потом бабушка пошла куда-то, а они вдвоем ее ждали, сидели на траве в чьем-то дворе, и у него немного кружилась голова. Вернулась бабушка довольно скоро:

– Лида, Юрайка, тут вы?

И мать ей сразу крикнула:

– Мама, ну что?..

А бабушка молчала, села спиной к ним и все прижимала к глазам концы платка, а потом высморкалась, поднялась.

– Я чувствовала... Все равно как знала. И только, это, завершила на нашу улицу – сразу и вижу... Надо теперь нам к Мише, если там что уцелело.

А мать вздохнула и сказала, что хорошо сделали, когда ушли из города, вот и живы остались.

Когда пришли туда, где раньше дядя Миша жил, уже темно. Стекло в низком окне было разбито, и мать раскрыла створки, влезла в дом. Бабушка вытащила из узла завернутую в марлю застекленную икону и осторожно стала подавать ее обеими руками в темный проем – не маме, нет. И вот он и сейчас все еще это помнит: как он тогда скорей почувствовал, чем увидел, что бабушка, вдвинув свою икону в темень за подоконником, вдруг отпускает руки. «Ну, разобьется же!» – сказал он. И она тихо, быстренько, точно боясь что-то спугнуть, шепнула:

– А там же столик его, там же его столик...

И он еще успел тогда подумать с удивлением: а может, она видит в темноте? Может, вообще все люди, когда старятся, то начинают лучше видеть в темноте?

А дядя Миша, возвратившись, принес с собой в дом какой-то еще неизвестный, прохладно-резкий, почти едкий запах. Казалось, что от дяди пахнет холодной баней и больницей вместе, а потом он услышал это слово – «дезинфекция», которое и обозначило тот запах, и, казалось, чем-то очень подходило к нему.

Работать дядя Миша начал на Товарной станции, в пакгаузах. Ходить ему туда было совсем недалеко – их дом стоял на Железнодорожной, и со двора можно было пройти огородами до той серой бетонной стены, что отгораживала территорию станции и виднелась с крыльца в просветах между высокими кустами сирени в конце двора и дальними яблонями и грушами. В стене давно были сделаны проломы.

Дядя Миша ходил на работу то рано утром, то после обеда, и тогда возвращался уже с темнотой, не спеша, петляя тропинками между картофельными участками и грядками. А он иногда поджидал дядю Мишу возле их огорода, стоя в густейшей тени среди огромных лопухов. Ноги и грудь обжимало холодной крепкой сыростью земли и зелени, а дядя приближался, приближался, и слышно было, как сперва похлестывает по сапогам ботва, а потом ближе, ближе, уже совсем рядом шершаво трется о голенища листья огурцов. Тогда он, выскочив под самым его носом, бросался сломя голову назад, к крыльцу, а дядя Миша громко и протяжно охал и оседал там, в грядках, и старался как следует напугаться, прежде чем робко двинуться во двор, а потом еще долго боязливо бормотал что-то, зайдя в уборную.

В тесной и чистой комнатке, которая считалась дядиной и где помещалась еще узкая железная кровать бабушки, на нижней полке этажерки стоял черный чемоданчик патефона. Стоп-

ка пластинок на нем, в бумажных конвертах с обтрепанными краями, была покрыта белой салфеткой. Узорчатым своим углом салфетка всегда спускалась ровно посередине патефонной стенки, и эта аккуратность была заботливой и в то же время строгой, запрещающей, – он никогда не смел тут тронуть ничего, хотя, конечно же, ему бы разрешили.

А дядя Миша иногда свои пластинки слушал, чаще всего по вечерам.

Он ставил патефон на столик, на коричневую, вытертую по углам бархатную скатерть, и раскрывал окно – легко и осторожно выталкивал в глубокий синий воздух белеющие половинки рамы. Занавески плавно колыхались от тихого ветра, из вечерней темноты сюда, под красный абажур, влетали ночные бабочки и суматошно кружились, стягиваясь к ярко-белой лампе, а патефонный женский голос, который казался грубоватым и печальным и почему-то нравился как раз за это, – пел:

*Была весна зеленая
Под небом голубым,
Мы встретились под кленами
С курсантом молодым
И плавно закружились –
Играл на мостовой
Военного училища
Оркестр наш духовой...*

Сухо, приятно пахло папиросным дымом дяди Миши – дым стлался длинными слоями от стола к окну, покачивался там у занавесок, и все раскачивалась, все кружилась в вальсе музыка с пластинки, и грустный голос пел свои слова:

*...Пока война не кончится,
Нам свадьбы не сыграть.
Умолкла наша улица,
Лишь клен шумит листвою,*

*А мне порою чудится
Оркестр наш духовой,
А мне порою чудится
Оркестр наш духовой.*

Вот почему-то всякий раз под эту песню и начинало представляться, как дядя Миша жил раньше, – давно, когда он был таким, как на фотокарточке в альбоме: черные, мокрые, видно, после купанья, волосы гладко зачесаны назад; он стоит, сильно загорелый, в белых брюках, без майки, одна рука на поясе, а другой держится за волейбольную сетку над головой, глаза весело прищурены, а папироса зажата в белых-белых зубах... Или сидит в лодке-байдарке: белая рубашка с широко раскрытым воротом, довольная улыбка до ушей, а весла вынуты, ярко блестят на солнце мокрыми лопатками... Или с какими-то людьми в лесу, за расстеленной на траве скатертью с едой и бутылками, и белокурая женщина притягивает его голову к себе, некрасиво собрав ему складками лицо с торчащей в углу рта папиросой...

И потом, когда уже стали жить отдельно, еще долго нравилось вспоминать ту комнатку дяди Миши, его музыку по вечерам и самого его в майке у раскрытого окна: занавески колышутся на ветру – «этой музыки звуки, полной страсти и муки, и дрожат твои руки, как гитарная струна...» Это все было про чье-то взрослое и давнее, чужое время – так почему, слушая те пластинки, хотелось что-то думать про себя и что-то наперед угадывать с тайным, смешным и чуть смущающим волнением?..

Из той тесной чистой комнатки дяди Миши, что была сплошь выложена бабушкиными узорчатыми салфетками (они лежали на всех полках этажерки и на постельном покрывале – «капе», на больших подушках, на футляре ножной швейной машины и полочке под высоким зеркалом в черной деревянной оправе, за которую было заткнуто павлинье перо), – из

той комнатки долго помнилась еще книжка Дос Пассоса с непонятым тогда названием «42-я параллель», с короткими жирными строчками в начале частей или рассказов, и особенно два места: как пахло влажным песком и дождем от мокрых волос какой-то девчонки, когда она и двое ребят укрылись на пляже под перевернутой лодкой, и встреча оставшегося без работы бывшего моряка со своей сестрой на нью-йоркской улице, – серый свет в конце пасмурного дня, и кажется, что от тебя самого, как и от моряка, пахнет табаком и слегка спиртным, и так же тебе зябко, мерзнут руки, нос, хочется вымыться в теплой воде, сменить несвежую одежду, отсыревшие ботинки... А те двое встречались, грубовато-весело здоровались и заходили куда-то перекусить.

Может, в той книжке были и рисунки. Но главное – как странно-близко, как понятно было это, прочитанное в ней. И как он тогда удивился, когда почувствовал вдруг запах дождя и влажного песка. Потому что за окном, в ранних сумерках, уже синел снег, люди осторожно скользили у заледеневшей, оплывшей, как свеча, водопроводной колонки, и все звуки, долетавшие с улицы, казались приглушенными, ватными. А вата с сухими цветами бессмертника между стекол тоже казалась снегом, как и ватные комки в стенных отверстиях возле окон, – в них дядя Миша подавал с улицы засовы, закрывая по вечерам ставни. Концы железных засовов в комнате покрывались за ночь инеем, а днем из этих отверстий, если их забывали заткнуть, дули тонкие струйки холода и при сильном ветре пробивался снег.

Их давнее житье-бытье на Железнодорожной.

Плотно укатанный песок на обочине булыжной мостовой, шуршат слегка приспущенные шины, на раме почти не трясет, а дядя Миша за спиной все нажимает на педали, седло под ним поскрипывает, он молчит, только над ухом слышно затрудненное дыхание. Плывут назад заборы палисадников,

стоящие возле калиток люди, воздух шумит в ушах, прохладно обтекает шею, а улица, всегда казавшаяся бесконечно длинной и широкой, теперь невзрачная какая-то и тесная, спешит уйти назад, скорее кончиться, точно стесняется себя, и вот уже пересекается шлагбаумом на переезде...

Или тот серый день глубокой осени, когда лет в девять или десять вышел из дома в первый раз после тяжелой, сильно затянувшейся болезни, – и холодный земляной дух пусто стынущей, обложенной кирпичами клумбы, паровозные крики и приглушенные в сыром воздухе удары вагонных буферов, свистки, шипение с близкой станции, – когда все это знакомое после долгого перерыва узналось опять, но с какой-то особенной остротой, и так тесно обступило, придвинулось, что он с растерянной улыбкой обернулся к окну. А мать в окне смотрела на него и тоже чуть-чуть улыбалась – ободряюще, как в тот момент казалось; но ободрение было лишь в осторожном кивке, а в глазах – со временем это видится все яснее – в глазах была и виноватая, и не желающая обнаружить себя жалость к нему, такому бледному, наверное, и слабому, едва не пошатнувшемуся с первых шагов на воздухе...

То давнее житье на Железнодорожной, за довоенным еще Западным мостом...

Потом Мишуша оставался там уже один.

Как-то само собой установилось, даже узаконилось, что он несколько раз в неделю обязательно обедает у них, в новой квартире в центре города. Мишуша приезжал на тяжеленном и громоздком, собранном из разных частей велосипеде с багажником, фонарем, ручным тормозом и еще какими-то приспособлениями. Полным значения, почти торжественным был его въезд во двор: слегка притормозив на тротуаре и звякая звонком, Мишуша выставлял в сторону руку, предупредительно оповещая о своем маневре, точно мотоциклист на сложном перекрестке; затем – неторопливый, с плавным поворо-

том спуск к их дому, и тут Мишуша уже не сидел, а ехал, стоя на одной педали, закинув ногу за ногу, так что еще не видно было той зашпиленной бельевой прищепкой штанины, что плоско, как лопасть, торчала вбок, когда он потом шел к лестнице, оставив велосипед внизу.

– Юра, посматривай, чтоб там мелюзга машину...

А что «машину», – этого он не доканчивал, да и не вспоминал о ней ни разу за весь вечер, пока опять не выходил во двор, чтобы ехать домой. Тогда тесный кружок соседской ребятни смолкал и расступался, а там «машина», стоя вверх колесами, беспомощно помахивала в воздухе педалями, мерцали спицы, дозуживал замученный движок, и опрокинутый к земле фонарь еще светился...

Когда по их улице пошли трамваи (они возили у себя на крышах рекламу цирка: КИО и СЕСТРЫ КОХ), Мишуша пробовав и на трамвае приезжать. Но потом снова перешел на свой велосипед.

Обеды начинались поздно, часов в шесть. Мать говорила: «Господи, даже и это не по-людски». Мишуша тут же уточнял, что это по-английски, и можно еще часом позже начинать. Бабушка Каролина ничего не говорила, молча носила из кухни тарелки с едой – чаще всего перловый суп и котлеты с картофельным пюре.

«Традиционное английское меню», – скажет Мишуша, потирая руки, а бабушка взглянет на мать – и потеплевшим голосом, с ворчливым позволением:

– Ну, англичан, так начинай уже свою «английку»...

Тогда Мишуша вынимает четвертинку из старого, истертого портфеля, мнет двумя пальцами, крошит белый сургуч на пробке и аккуратнo, в два приема выпивает – и перед супом, и перед котлетами.

Бабушка иногда брала портфель, вертела в темных, потрескавшихся руках и говорила, что кожа стала прямо как юфть.

А мать опять начинала про то, что Мишуше можно устроиться если не в техникуме, то в школе, и вести там черчение (не мог же он забыть все это начисто). И он в эти минуты представлял себе Мишушу школьным чертежником, и шуточные дядины слова про разное «английское» тогда уже как-то больше вязались с ним и что-то новое давали почувствовать в его прошлой, довоенной жизни. Теперь же Мишуша, уволившись с Товарной станции, работал в обувной мастерской – оказалось, он и это умел. Но маме здесь что-то не нравилось, и очень сильно, а он отмалчивался.

Он часто приносил к ним в дом разные вещи. Так появился, например, большой комнатный термометр с латинской буквой R на треснувшей шкале.

– Где ж ты тепла ему тут столько наберешь! – сказала бабушка. А мать сказала:

– Хлам! – и больше не смотрела.

Мишуша, не смутившись, внушительно проговорил:

– Термометр Реомюра.

Потом достал из портфеля жестянку с гвоздями, сапожный молоток и не спеша устроил Реомюра на стене.

В другой раз он принес длинный рулон бумаги, оклеенный марлей, а когда развернул, оказалось, что это «Физическая карта Европы». Ее повесили напротив окна, и все остальное в комнате стало каким-то тусклым, скучным – столько ярких красок было теперь на стене. Бабушка, вытерев руки о фартук, осторожно дотрагивалась распаренными от стирки пальцами до горячих на вид оранжевых высот Скандинавского полуострова и говорила:

– Во где жара – так жара!..

Приближался Новый год, и было уже 31-е, под вечер. В квартире все вертелось колесом. В углу стояла елка – с таким видом, будто все хлопоты из-за нее одной, а на нее сейчас и не смотрели.

Мишуша появился незаметно, его обнаружили, когда он был уже без пальто, но еще в вечной своей «котиковой» шапке. Топчась в темном углу передней, упиравшись рукой в стену, Мишуша медленно освобождался от калош. Стоптав их, наконец, с ботинок, он прошел в кухню, к бабушке, и подал ей сверток в белой бумаге. Бабушка быстро, возбужденно зашептала что-то, будто отказываясь наотрез, даже пугаясь, но так же быстро, благодарно смолкла. Потом сказала:

– Ну иди же к Лиде, – Мишуша обернулся:

– А, Юра! Принимай... – и на ладонь приятной тяжестью лег новенький холодный перочинный нож.

– Лида! Ну, приготовься! Я иду! – крикнул Мишуша и, не входя, поставил через порог черные узкие, на тонких каблучках, новые туфли-лодочки, и они глуховато, скромно стукнули о непросохший после мокрой тряпки пол.

– Английские, ручной работы, собственной, – сказал Мишуша. – В общем, модельные... Носи.

А мать так улыбалась, осторожно подходя к ним, так улыбалась, нагибаясь и протягивая руку, что он, стоявший за спиной Мишуши, почувствовал вдруг зависть и досаду, что вот не он, а дядя, мамин брат, сделал ее сейчас такой красивой, – и поспешил сказать:

– Ну, мама, надевай же!..

Когда собрались гости с маминой работы («Вся городская киносет!») – торжественно провозгласил Мишуша), мать села, надев новые туфли и закинув ногу за ногу. В этом угадывалось что-то ее давнее, наверное, самое красивое и молодое.

А когда гости разошлись, мать поскутнела, туфли сняла, поставила их у стены и вышла в свою комнату. Белая дверь плотно закрылась.

– Мама, сходи, – тихо сказал Мишуша бабушке через минуту. И та сходила. А возвратившись, только вздохнула:

– Слова не скажи...

– А что ты ей сказала? – спросил Мишуша.

– Ничего. Не дала рта раскрыть. Всю жизнь такая... Может, и сломала себе жизнь, сама, еще тогда... Мальчик – так надо было ему батьку. Все ж таки, что ни говори...

– Наверно, да.

– Ладно, хоть целые после войны остались. Не нам бога гневить... Теперь вот только и живи, кто жить остался. Ты тоже целый, боженька меня услышал.

– Целый... – Мишуша сухо зашуршал спичечным коробком.

– ... и Юрка. Двое мужчин все ж таки...

Потом он лег, глаза уже слипались. Прохладно пахло свежей наволочкой и зеленой елкой – детством. Все голоса, он слышал, снова собрались и были вместе, мамин голос – тоже.

Он о чем-то еще собирался думать, но ничего не получалось. И только сонно сам себе сказал: «Вот моя мама... Вот мама Мишуши – бабушка... У бабушки тут сразу – дочь и сын...» Он засыпал и словно из далекой детской жизни смотрел на всех, сидящих у стола. Он видел маму, бабушкину дочь, в новеньких легких туфлях. Дочь бабушки была красивой, молодой.

Глава четвертая

Студенческая аудитория; идет экзамен. Окна открыты. Солнечно. С улицы залетает тополиный пух.

– Переходите, пожалуйста, ко второму вопросу, – сказал Юхневич и, обернувшись на нерешительный скрип приоткрывшейся двери, вышел из-за стола.

Тут нужно было быстренько решаться: или сию минуту выпустить несколько блоков общих фраз, даже не маскируя их нахальства и убожества, или же выдержать паузу, не суетиться, подождать Юхневича, а вот потом уже как бы и сбиться, спутать и размазать, будто забылось все, кроме той сцены с яблоком...

Доцент Юхневич доверительно шептался с кем-то у открытой двери и протирал платком стекла очков. Здесь, в аудитории, уже вовсю шуршали, шелестели и кто-то горячо и зло шипел. «Вернется – а мне есть с чего начать, по крайней мере», – подумал он, вяло отметив, что вот и не пришлось решаться ни на что, само все как-то вышло. И даже хорошо: он честно, вежливо молчит, интеллигентно ожидает собеседника, когда другой бы, может, лопотал, бубнил в пространство, рассчитанно коря этим своим старанием экзаменатора, отвлеченного на минуту от стола. «Нет, только так: и благородно, и тактично. Кто-кто, а уж Юхневич это сразу же поймет».

Он так легко и быстро проиграл в уме все варианты, на ход вперед, что даже успокоился немного.

Пришел Юхневич.

– Извините... Продолжайте.

Он начал и израсходовал все заготовленное гораздо быстрее, чем рассчитывал. Продолжать было нечего, нечего было и путать. До своего единственного козыря, до сцены, где Вильгельма Телля заставляют стрелять из лука в яблоко на голове у сына, было безнадежно далеко – как и до благополучных, со стипендией, летних каникул, которые могли бы начаться сразу за дверью этой аудитории. Провалилось все.

Он посмотрел на Юхневича – тот опустил глаза. Мучительно помолчав, он посмотрел опять – его удивило, что лицо у Юхневича стало растерянным, в нем чувствовались и смущение, и неловкость. Это уже было как тень запретной, незаконной, но спасительной надежды: сразу же вспомнилось все то, что понимали они о Юхневиче давно, с начала курса. А именно, что этот старый человек не просто робок и застенчив, но как-то неправдоподобно добр.

– Простите... Вы читали «Вильгельма Телля»?.. У Шиллера, – не то спросил, не то испуганно напомнил, о чем речь, Юхневич.

Это его «у Шиллера» было, по правде, уже лишним. Хотя... «Он думает, что мне уже вообще не выплыть». Ему канат бросали – надо было брать. Он попытался:

– Главный герой у Шиллера – свободный человек, охотник... Отличнейший стрелок...

Но не было путей к той сцене с яблоком, не было к ней мостков, он даже жердочку не перекинул.

Теперь к единственному шансу на стипендию ломиться надо было напрямик, не прячась, не виляя в околичностях, переть открыто, без коротких перебежек.

«Вильгельма Телля» он к экзамену не прочитал, кто-то ему рассказывал немного...

– Его заставили стрелять из лука в яблоко на голове у сына... Юхневич кашлянул, дотронулся до узелка засаленного серенького галстука и пододвинул к себе ведомость. А он поймал себя на том, что ко всему уже стал тупо-безразличным, и, спохватившись, сделал вид, что волнуется и переживает, но перегнул: авторучка в стиснутых пальцах переломилась, потекли чернила. Юхневич посмотрел на него кротко, беззащитно. Сказал:

– Вы, собственно, вначале отвечали хорошо... И на коллоквиуме, помню...

Он на коллоквиумы не ходил, но ведь не поправлять же было. Дальше все сделалось уже как-то само собой. Он только чуть не встал раньше, чем нужно. Потом предупредительно и в то же время стараясь не лебезить, подал Юхневичу зачетку. Все остальное, что он мог дать ему почувствовать – досаду на свою якобы случайную забывчивость, понимание его умной непридирчивости, свою воспитанность и что-то там еще, неясное и самому, – все это он постарался вложить в «до свидания». Юхневич вскинулся в ответ с живой признательностью человека, с которого сняли наконец груз неловкости. И получилось так, будто обмен их вежливыми «до свиданиями» и есть то главное и самое приятное, ради чего все началось и шло.

– Ну что, Юра? Ну что?.. – его уже держали за руки обе Талейки, Дина и Лариса, а от окна впивался острым взглядом еще не сдавший, карауливший свой час, бледнящий Дорогавцев.

– Четыре?! – закричал тот с мукой в голосе, уже не в силах, видно, больше ждать.

– Да, еле проскочил...

Талейки облегченно охнули. Губы у Дорогавцева чуть дернулись в нервной, завистливой улыбке, он барабанил пальцами по мутному стеклу.

...Пока искали друг друга на лестницах, пока сговаривались, прошло с полчаса. Когда вышли, было, наверное, около семи, но солнце стояло еще довольно высоко. Пахло нагретой за день листвой, пыльным асфальтом. На тротуаре тихий уже ветерок мягко сметал ленивый тополиный пух, катил его веретенами к стенам.

Он вспомнил, что теперь самые длинные дни в году, хотел сказать, но говорили вразнобой, никто никого не слушал. Все было очень хорошо, легко и пусто, и что-то еще ожидалось и мерещилось, а вечер не спешил – не наступал, хотя уже был вечер. Когда купили в гастрономе все, что нужно, стало заметно вдруг, как все устали и издергались за этот день. Но во дворе у входа в общежитие опять повеселели.

Он дал себе слово вернуться домой до темноты.

На Ленинградской фонари сонно светили мутным желтоватым светом. Впереди торопливо, словно спохватившись, постукивали чьи-то каблучки. Он понял, что на последний автобус надеяться нечего и что дома снова не миновать объяснений, – даже сегодня, когда все кончилось так хорошо. «Главное, чисто проскочил, – подумалось опять с приятным облегчением. – Не то, что год назад. Тогда вся летняя стипендия накрылась...»

Обрывки не то мыслей, не то просто разговоров кружились в голове и путались. Потом вдруг вспомнился Юхневич.

«Он же меня стеснялся... Да. И себя тоже... Ну так и что? – вышагивал он дальше. – Ну и что?» Слабая тень досады промелькнула, он отогнал ее – об этом не хотелось думать.

Так он и думал, и не думал, шел себе и шел, и вдруг уперся в свою улицу: здесь было все разрыто. Высились насыпи, а между ними протянулась глубокая канава, белели хрупкие дощатые мостки. Просто не верилось, что за день можно вот так разворотить и вздыбить улицу, даже работая с пожарной быстротой, без передышки, и не ломая кроша асфальт, как черный лед весной, а прошивая его, с грохотом, отбойным молотком, чтобы снимать широкими пластами. И в первую минуту даже было чувство, словно бы он здесь больше не живет, может, и не жил раньше, – такой чужой предстала эта улица, так изменилась, не сопротивляясь, не упорствуя, – наоборот, будто с готовностью отрешиваясь от себя, стараясь не напоминать о себе прежней не то чтоб одному ему, но даже этим темным окнам, хотя они уже закрыли на нее глаза, погасли на ночь.

Он пробирался вдоль стен, по узкой полоске сохранившегося тротуара, песок и мелкие камни громко хрустели под ногами, а впереди, слева от фонарного столба, уже виднелись черные пики давно разбитых железных ворот перед их двором. И вот он мог бы даже слово дать, что и ничуть не удивился, когда, едва успев подумать, что просто так сегодня все не кончится на этой улице, – он ухватил вдруг слева, краем глаза, какой-то странный свет в одном окне. Это было окно магазинчика, где скупались от населения «золото, серебро, драгоценные камни и часы» – и куда из всего этого приносили разве что одно ржавое старье с давно остановившимися стрелками. И свет в окне, мелькнув только в пределах шага, тут же задернулся, как шторой, темнею соседней низкой арки.

Он нерешительно остановился, потом шагнул назад и стал напротив двери. Она была открыта. Узкий коридор угадывал-

ся в слабом свете, шедшем из-за перегородки, и там, за ней, слышались женские голоса.

За магазинчиком этим уже года два присматривала ночная сторожиха Степанида, одинокая старая женщина, жившая в этом же квартале. По ночам она неподвижно сидела на табурете в углублении перед дверью с массивной скобой и висячим замком. Днем же зачастую бывала навеселе и тогда ходила по дворам, ругаясь с детьми, а те ее дразнили кличкой «тёрло-в-горло» и радостным воем отвечали на каждое ее проклятие, из которых чаще всего гремело: «Соль вам у вочы, деркач у зубы, тёрла ў горла!..» Стоя теперь у дверей ночной службы Степаниды, он как о чем-то оправдывающем ее подумал, что ведь ни разу еще не было слышно, чтобы на дежурстве у нее что-нибудь случилось. «Сразу бы знали все», – сказал он про себя и сдвинулся чуть в сторону от двери, к окну.

Там, за стеклом, в глубоком, как колодец, помещении, горела свеча. Желтый язык ее коптил. Видно было крупное, грубое лицо Степаниды: серая прядь волос падала на щеку, платок откинут за спину. И толстый красный Степанидин палец крючком покачивался перед носом – кого-то убеждал или корил.

Он шагнул вправо, как бы еще не решаясь ни на что, но тут же вошел в темный дверной проем и чуть не растянулся, споткнувшись о невидимый порог.

– Эй! Кто там валится? – крикнула Степанида. Послышалось чье-то хихиканье и шепот.

Он обогнул перегородку, заглянул. Там Степанида пробовала приподняться и с трудом вглядывалась влажными блестящими глазами перед собой. А та, что справа от нее сидела, застыв и пригнув голову, старалась что-то расслышать или угадать, – та была Неля, Неля... Как же это он...

– Соседский... Юра, кажется? – заулыбалась Степанида.

– Значит, свиданьице, – послышался писклявый голос из угла, и он сейчас же отыскал там взглядом высокую, какую-то

острую фигуру с белым лицом и черными, будто наклеенными на него кругами глаз. «Ну, эта... Ясно. Она и хихикала».

Он посмотрел на Степаниду. Та наклонилась и поставила бутылку на пол. Неля не двигалась, сидела, точно отгородившись от всего.

Он вдруг почувствовал к ней что-то мстительное, злое. Будто стоял сейчас над ней в отместку за все прошлое: за свое школьное, слюнтяйское томленье, за стыдный тот плен, за тоску и бред о той, случившейся однажды близости, которая была, наверное, подарена ему просто по доброте и под влиянием минуты, но заставляла потом чуть не год, как тяжелобольного, тенью ходить за ней, пока это не умерло или он сам не затоптал, – теперь уже неважно... «Этой музыки звуки... и дрожат твои руки», – неслось тогда по вечерам из репродуктора над танцверандой, белая юбочка мелькала среди млевших пар; счастье твое аккордеонное – для всех, кто подойдет... Нет, с этим кончено, сейчас предоставляется шанс для полного расчета; только стоять вот так над ней – и все, первым не заговаривать, не помогать ни словом. Что она скажет? До чего докатилась: ночью – и здесь, со Степанидой, из мутных баночек...

– Ты, Неля? – неожиданно как-то само сказалось – он и не понял как.

Только она и тут не шевельнулась, даже ресницы не вспорхнули – длинно, черно торчали книзу с крошками краски на концах. Тогда он вдруг увидел: не отгороженность и, уж конечно, не враждебность были вот в этой ее неподвижности. Нет, нет, что-то совсем другое, что исключало начисто попытки мстить, торчать здесь благороднейшим немым укором, тонко сводя счеты. Шанс-то давался, только добыл этот шанс не он. Козырь его играл и бил, наверное, да только он его не выиграл сам – то ли подкинули, то ли в чужие карты заглянул... Была в Неле одна растерянность и даже беззащитность. И в то

же время словно бы какая-то привычная готовность не отрицать, признать все молча и переждать, не поднимая глаз, – та самая готовность, что говорила уже больше всяких слов.

Так странно было это все... Ту длинную, в углу, наверное, уже порядком развезло – она там начинала что-то напевать.

– Девочки вот... зашли, – с одышкой, медленно проговорила Степанида. – А што б какое тут плохое – никогда...

– А я домой вот шел... – он снова посмотрел на Нелю.

Вот эти губы, полные и, как всегда, словно по-детски чуть припухлые и приоткрытые, маленький нос, так аккуратно, мягко округленный на конце, – все то же, будто и не тронут ничем; и та же шея – она всегда ему казалась чересчур открытой, и раньше, по утрам, он, еще полусонный, любил об этом думать на уроках, все представляя, как легко и чисто сходит, спускается к Нелиной шее прохладно-матовая плавность подбородка, щек. Все это он тогда, стыдясь, звал про себя одним непроизносимым словом «нежность», и каждый раз, когда оно встречалось в книге, все это, Нелино, будто касалось его лица.

– Шел тут домой... – опять сказал он и умолк: Неля встала с табурета, и вид у нее был почти спокойный и усталый.

– Смотри, не стукнись там опять, – сказала Неля. Голос ее звучал чуть хрипловато, непривычно низко, и у него от этого что-то с тоской сжалось внутри. Она теперь стояла рядом: чужая, новая, кажется, выше ростом. И грудь высокая, большая, как-то по-иному уложены волосы, и еще много в ней всего другого, чего он раньше и не замечал.

Он понял, как-то догадался, что она выйдет вслед за ним, и боком двинулся к дверям. И Неля, обтянув на себе блузку, уже шагнула мимо Степаниды, но та, мотнув с бессмысленным упрямством головой, вдруг потянулась к ней рукой и, промахнувшись, покачнувшись, стала падать.

– Стой! Ты к-куда?! – успела она выкрикнуть, схватившись за свисавшее из-под настольного стекла сукно и разом

сваливая на пол стекло и все, что на нем было. Раздался грохот, звон, и длинная девица взвизгнула в своем углу. А на полу в блестящем крошечке стекла уже лежали тонкие хрупкие весы с цепочками, остов разбитого футляра, чернильный мраморный прибор и что-то там еще, – не разобрать. Мотнулся в сторону язык свечи на полке, извернулся и снова длинно вытянулся вверх.

– Ну?! Ну-у?! – рычала Степанида, угрожая. – Ну, што теперь вы, а?.. – Она сползала вниз, еще цепляясь за край стола, все падала и словно не могла упасть совсем, как будто не решаясь.

– Быстрее выходи, – шепнула Неля совсем близко, дохнув на него запахом вина.

– Нэлка, давай! Нам не хватало еще бобиков, – сварливо повторяла сзади длинная девица, и он успел заметить, как она, быстро нагнувшись, словно бы нырнув, что-то подняла с пола.

– Ну, вот, Юра, и встретились. Как, нравится? – шутила Неля с горьким вызовом. Они стояли уже возле арки.

– Нэлка, идешь? – занудливо тянула длинная откуда-то из темноты.

– Ты... теперь где живешь? – спросил он Нелю, стараясь кончить все каким-нибудь незначущим коротким разговором, будучи уверен, что это нужно прежде всего ей.

– Я? – Неля оглянулась, поправляя волосы. – А, далеко, возле Кальва-рии. Вот Степанида там жила, мы же тогда с ней обменялись...

– Да-да, – кивнул он, удивившись про себя, что вовсе и не помнил уже этого. – Я вот шел, смотрю – тут свет и разговаривают...

– Да ладно, Юра...

– Кончили сегодня сессию.

– Что?

– Ну, экзамены добились. И отметили. Сильно, по-моему.

– Кончай. Знаю я, как. Сильно тебе нельзя.

– Мне? Почему?

– Ну можно, можно... Только осторожно...

Она вдруг стала приближаться, не улыбаясь, странно опустив голову. Глухо, отрывисто сказала:

– Значит, идешь? Сейчас, сейчас... – и прислонилась: – Ах ты, Юрайка, Юрчик умненький, студентик... – Стала вжиматься в него вся с нежной и смелой силой, сцепив на спине под пиджаком руки.

Он замер и, удерживая равновесие, переступил на месте, коленями почувствовав упругое тело. Сердце уже так громко бухало, все целиком – в нее, в нее. Он ткнулся вниз лицом, в вырезе блузки пахло ее телом и духами. Его уже бил озноб.

– Ох, ну, конечно... – Неля вдруг подалась назад. – Дура я. Вот нашло... Так захотелось тебя обнять.

Он снова потянулся к ней.

– Не надо, Юра. Это же так давно... И не могло же тогда, не могло, разве не ясно было?..

– А почему?

– Ты мальчик из хорошей семьи и все такое... Я даже иногда тебя стеснялась, веришь?

– Нет.

– Пусть. Не в этом дело. А просто я...

– Что – ты?

– А то. Ты ж мог подумать: прости господи такая...

– Ты скажешь.

– Думал же, да? Я знаю. Ну хоть со злости, когда было то, с Беляевым. Как ты меня тогда не отлупил? После я тоже, знаешь, напетляла, накрутила. Свет стал такой, что... Или я сама? Ткнешься домой – война... В общем, пошла по кочкам. Теперь бывает, что смотрю на все, как на трамвай: мимо идет, звенит, и пусть, а мне туда не надо. Сегодня вот сюда приперлась с этой... Все от скуки. Юрка, ну ладно, ты иди. Скоро устроюсь

на работу, ты не думай. Иди, увидимся когда-нибудь, стипендию твою замочим. Ну, я шучу. Иди, Юра, иди!..

И она резко повернулась, побежала вдоль стены под окнами, только бежать там трудно было – узко и темно, и она мелко, сбивчиво застучала каблучками, переходя на торопливый шаг. А он стоял, пусто трезвея, и слушал, слушал ее шаги, пока они не смолкли в темноте, – как два года назад. Он знал: сейчас опять подступит все то давнее...

Глава пятая

Парк вечером. Огни и музыка. На танцверанде толчея, тут уже свой час ник. Снаружи, перед сеткой – зрители.

В просветах между вьющимся плющом ему видна часть площадки с танцующими. Яркий свет в середине и мягкий полумрак у сетки, под навесом. Здесь сидят. Красные точки папирос и спичечные костерки в ладонях, когда прикуривают, и запах дыма тянется сюда, за сетку, слоится в запахах и вечерней остывающей листвы, цветов.

Он ее ищет сперва тут, среди сидящих.

Спины в белых рубашках, белые полосы выпущенных на пиджаки воротничков. И спины в платьях, кофточках, чейто приглушенный смешок, и руки, легко вскинувшись, стряхнув локтями тесноту рукавов, медленно, долго поправляют волосы... Нет, не она. А в репродукторе уже шипит, шипит – и вот опять этот крутой аккордеонный разворот, после которого вступает надоевший тенор:

*Этой музыки звуки,
Полной страсти и муки,
И дрожат твои руки,
Как гитарная струна...*

Этой пластинке никакого нет конца. Такое чувство, будто и все, что так натянуто сейчас внутри, тоже не кончится и не отпустит, даже не порвется, а будет вечно ныть, сосать под ложечкой, и остается только ждать и ждать. Чего?.. Конца нет этим вот его стояниям и подглядываниям. Конца нет шляпню, околачиванию там, где может быть она.

Пары танцующих замедлили движение и, со значительностью замерев на миг, распались. Музыка смолкла, и площадка в середине стала пустеть. Он шагнул ближе к сетке, изготовившись теперь всмотреться быстро, цепко, но тут же вильнул в сторону и спрятался за плотным сплетением ветвей: Неля, откинув голову, прикрыв глаза, какая-то стыдно-довольная, сдувала со щеки прядку волос, а кто-то, не вставая, за руки ее держал, притягивал, чтоб на колени села.

Злость и обида, жалость к себе, стыд держали его тут, он чувствовал свою улыбку на губах и почти понимал, что она только виноватая, совсем не ироничная и не презрительная, как бы ему хотелось.

Потом как высмеянный, как побитый, он двинулся назад и в темноте шагнул в клумбу, но не остановился, пока не перешел ее всю, увязая по щиколотку в рыхлой земле. На узкой дорожке стал отряхивать туфли, изо всех сил стуча ногами по асфальту, твердя про себя одно и то же грязное липкое слово, называя им Нелю, проклиная и втапывая. Жгло уже ступни, будто в кипятке ступил, и он затих, вытащил сигареты из кармана. Вздохнул – вздох получился жалобным, прерывистым, как в детстве, когда, бывало, после быстрых и горячих слез вдруг схлынет тяжесть, только сухая пустота в груди, и наступает тот покой, что уже полон горько-сладостного примирения с обидой.

Сколько проходит времени, он и не знает. С веранды снова плывет музыка. Сквозь неподвижную листву ярче желтеют фонари в аллеях. Пахнет настурциями и землей от клумбы, и гниловатой сыростью потягивает от реки.

«Надо о чем-то думать, – вдруг решает он. – Зря меня так теперь скрутило».

А думать есть о чем, только он все откладывал, – не то чтобы противясь или уклоняясь, но собираясь сделать это в специально выбранное время, как следует, а не на скорую руку. Потому что, если на то пошло, не каждый ведь день случается узнать, что ты уже стал студентом.

И вот, выходит, даже хорошо, что он еще не думал обо всем этом. Может, сейчас самое время и подумать о том новом, что прибавится к привычной жизни, когда через четыре дня он двинет в институт, на первую лекцию. Может, это и есть та твердая опорная площадка, которую он, наконец, утрамбовал среди всего податливого, рыхлого в себе, в чем постоянно увязаешь будто в сырой глине. Может, это такая точка, откуда лучше и понятнее увидятся и те запутанные расхождения со всем домашним, с матерью, да и самим собой, которые не просто остаются прежними, но увеличиваются, растут... Вот как растет сейчас опять досада на свою зависимость и несвободу от этих видных и отсюда, загорелых, налитых, красиво полноватых ног, от Нелиного круглого лица, ее открытой всем, доступной всяким взглядам шеи.

И, чувствуя, что и сейчас не выбраться из всего этого, он, чтоб помочь себе, отчаянным движением кинулся наперерез одной неясной, уже ускользавшей мысли, – настиг и ухватился за нее: «А-а, может, вот из-за своей этой доступности она и стала для меня такой?..»

Этой музыки звуки... завел опять, точно в насмешку, тенор в репродукторе, ему вторил услужливый аккордеон.

А он заметил: Неля вдруг крутнулась перед своим кавалером, отпрыгнула и, сразу же нырнув в толпу у выхода с веранды, исчезла там, то ли застряв, то ли прошив эту толпу насквозь.

Он побежал узкой дорожкой вдоль кустов акации и выскочил на ярко освещенный пяточок, где контролеры, дюжие и

тертые ребята, стриженные под «бокс», облокотятся о турникет, лузгали семечки. Вид у них был настолько сонный, словно не то что Неля здесь не пробежала, но не прошаркала даже какая-нибудь старушенция с авоськой, которую они могли впустить, чтоб та забрала несколько пустых бутылок под скамейками. Тогда он бросился на главную аллею.

Неля там шла одна и очень быстро. И сразу же отчетливо увиделось, что руки ее будто жестикулируют и двигаются сами по себе, не в такт шагам – не поспевают за стремительной походкой, или же заняты другим, еще отводят в стороны, отталкивают за спину все, что уже осталось позади. И будто не из парка она шла, а прочь от парка и от плывущей ей вдогонку музыки, от всего вечера, прочь от самой себя.

Он добежал – она остановилась:

– Юра? Откуда ты тут взялся?

Он ничего не говорил. Неля внимательно смотрела и ждала. Потом вдруг улыбнулась:

– Юрка, смешной... Чего ты за мной бегаешь?.. Смотри, ты еще чего доброго... в меня...

– Да! – выкрикнул он со злостью. – Да, если хочешь знать!.. Что, скажешь, знала все уже давно?

– Не-ет, – протянула она удивленно и без паузы, как-то послушно-быстро.

Он чувствовал: вот в следующий миг все, что она произнесет, будет уже ответом на то, что криком вырвалось, с чем он не совладал сейчас в себе.

– Господи, – выдохнула Неля.

И было в этом столько женски-взрослого, что он вдруг показался себе совсем мальчишкой рядом с ней, своей ровесницей. Но главное, что удивило в ее голосе, так это смешанная с сожалением беспомощность, какая-то безысходность. Словно не он, сорвавшись в откровенное признание, находится сейчас в нелегком положении, а именно она, она. И у

него мелькнуло, что, наверное, вот так с ними всегда, – будь это даже мать или бабушка: ты никогда не угадаешь, как все обернется, если решился в чем-то открыто их упрекнуть. Они не только заглушат всю твою правоту немым укором павших, якобы в неравной битве. Это уже само собой. Но не признают даже срыв твой, промах – хоть бы вот этим «господи», – чтоб ты не очень упивался поражением. А то и просто сдвинут в свою сторону твой белый флаг, чтобы опять-таки сочувствовали им, а не тебе.

– Чего ты испугалась этого танцора? Там у тебя полно защитников. Вот только главного не видно, капитана...

– Юра, не начинай, сама все знаю. А этот – первый раз его тут вижу. Ну, подошел – я, дура, согласилась: танго... Скотина. Амнистированный, кажется... Идем.

– Куда? – спросил он и хотел получше рассмотреть ее лицо, но свет от фонаря почти не доставал до того места под большим каштаном, где они стояли.

– А все равно, – тихо сказала Неля. – Лишь бы отсюда поскорей. – И то ли в шутку, то ли вызывающе, себе назло: – Ты бы увел меня куда-нибудь? А, Юра?

– И уведу, – ответил он, стараясь, чтобы это выглядело и уверенно, даже слегка развязно, и вместе с тем как бы шутиливо, чтобы не попасть впросак. И вдруг добавил, неожиданно для самого себя, забыв про взятый тон и осторожность: – А к нам пойдешь? Мать с бабушкой ушли до ночи, точно знаю. У бабки родственник какой-то умер.

– Да?.. – Неля спросила так рассеянно, будто не слушала его. – Смелый ты, смелый... Значит, в гости приглашаешь? А я вот соглашусь! Идем.

И пока шли, не разговаривали, не смотрели друг на друга. А он все думал: «Этого не может быть». Когда свернули за пожарной на их улицу, Неля сказала:

– Ты здесь иди вперед, я за тобой.

А он только кивнул, словно не раз они уже вот так сговаривались, коротко и просто. Шел и старался ни о чем не думать. Ни о словах ее, в которых ему слышалась теперь лишь деловитость, опытность, ни о том чувстве настороженности, опасения, которое уже овладело им.

В том, как они сейчас шли порознь к его дому, было уже что-то от связывающей их, ненужной, неприятной тайны. А все на улице, казалось, об этой тайне уже догадывались, знали. Догадывались пожилые женщины в окне трамвая, что провожали почему-то его взглядами, держа свои большие, натруженные руки на доходивших до подбородка связках обоев. Знали, наверное, и маляры, с хохотом вышедшие из ворот в настолько заляпанных мелом шляпах и куртках, что казались в уличном электрическом свете уже нарочно размалеванными для какого-то дурацкого карнавала, – они даже посторонились с клоунской любезностью. И уж, конечно, догадался Макс Миленский, торчавший во дворе в своей «Победе» с шашечными клеточками на боку; он уже, видно, посигналил, чтобы вынесли сверток с едой, за которым заезжал всегда под самые окна, – и теперь, высунув из машины свою маленькую седую голову, ответил на его «здравствуйте» привычно-нелепым: «Чай готов, извольте кушать, подал барину пальто». Но сейчас и в этом увиделся какой-то шутивно-поощрительный намек.

Дверь он решил не запирать, только прикрыл, включил в прихожей свет и пошел в комнату.

Чисто блестел клеенкой плоский и широкий круг стола. За ним, в углу, спокойно, холодно и непричастно ни к чему высилось зеркало, глядя куда-то поверх остальных вещей. Давно смирившись с ролью просто мебели, немо, зажатое между сервантом и окном, скучало их старенькое пианино, держа на себе лампу и часы, стопки учебников и тетрадей. Все выглядело как всегда по вечерам. И в то же время комната смотрела как-то выжидательно, может, чуть-чуть недоуменно, – это осо-

бенно было заметно по стульям у стола, спинке дивана, по чему-то еще неуловимому, чего уже нельзя было определить.

И вот, когда он, постояв здесь с полминуты, пошел в прихожую, чтобы, услышав Нелины шаги у двери, сразу ей открыть, – тогда вдруг и почувствовал, что ему вроде и не очень хочется, чтобы она пришла. То, что он раньше только пробовал представить, когда думал о Неле и о себе, но что казалось недоступным, безнадежным, – все это сейчас приближалось, буднично-просто и со странной, непонятной быстротой, но словно без его участия, помимо его воли и виделось едва ли не навязанным со стороны.

Ему казалось, Неля все это в нем заметит. Но она появилась в дверях с осторожной вопросительной улыбкой и, глядя себе под ноги, словно боялась наследить, сразу же посмотрела на него с такой открытой и веселой доверчивостью, что он с облегчением улыбнулся, чувствуя, как отпускает что-то внутри, и ему делается проще и свободнее.

И когда были уже в комнате, и Неля с интересом оглядывалась по сторонам, смущенно прижав к себе локти опущенных рук, он вдруг отчетливо увидел все и понял: «Она же рада!..» И сам обрадовался – за нее и за себя.

– О, радиола, – улыбнулась Неля, сказав это, наверное, чтоб только не молчать.

– Да, старый «Пионер», – сказал он небрежно. – Садись, – и показал ей на диван, а сам стоял, держась за спинку стула.

Она села в углу, продолжая с любопытством осматривать все вокруг. И он, заметив, как уютно лежит ее рука на валике дивана, сразу, как ему казалось, понял это положение Нелиной руки: когда Макс Миленький впервые появился во дворе таксистом, настолько уже низенький в высокой довоенной «эмке», что малышня вопила радостно: «Без человека едет!» – когда он, заглушив мотор, весело крикнул: «Ну, Юра, что ты скажешь, что?» – тогда он сел к Максиму, захлопнул дверку, а пра-

вый локоть как-то сам собой сразу же лег на подлокотник, который предлагал это приятное удобство, звал к нему... Наверное, вот точно так, мелькнуло у него сейчас, и Неля положила руку на диванный валик – не ради позы, а только послушно валику и с удовольствием приняв этот уют. И тут подумал: «Может, у них дома нет дивана...»

Неля спросила, поступал ли он куда-нибудь после школы в это лето, и он начал рассказывать про факультет и конкурс.

– Постой, – она чуть подалась вперед, – ты что, значит, уже студент? Ну-у, Юра!.. По медали, да?

Она смотрела на него с восхищением, без тени зависти. Но он, словно спохватившись, стал быстро и охотно говорить, что на медаль и никакой надежды не было, и вообще постарался представить дело так, будто десятый кончить удалось чуть ли не чудом. Ему казалось, что ей проще и легче слушать об этом, чем об удаче с институтом. Но Неля все повторяла, что он молодец, и незаметно было, чтобы она жалела или просто помнила сейчас о своем уходе из школы после девятого класса.

А потом они говорили о чем-то другом, и он все смотрел на нее и удивлялся, какая она здесь совсем другая, чем на веранде, когда он следил за ней, стоя за сеткой, и там, в аллее, когда он ее догнал. Его только немного беспокоило, что Неля и теперь поглядывает вокруг себя с тем же смущенным любопытством, что и в первые минуты. Она все возвращалась взглядом к пианино, к яркой «Европе» на стене, к афишам «Кубанских казаков» из нового кинотеатра «Беларусь», которыми бабушка устлала оба подоконника (и вырезала там, как на салфетках, уголки – зарубки об одержанной победе в вечной, уступчивой борьбе за право сделать в доме что-нибудь по-своему). Ему стало казаться, что в обстановке комнаты что-то стесняет Нелю непривычностью и явной непохожестью на то, среди чего живет она сама. И захотелось как-то дать понять

ей, показать, что все тут, перед ней, обыкновенное, совсем ничем не интересное, а для него так просто скучное и надоевшее своей ненужностью до раздражения.

Неля встала к пианино и, оглянувшись, со стеснительной улыбкою подняла крышку и тут же опустила, сняла салфетку, начала аккуратно складывать. Он взял салфетку у нее из рук, небрежно бросил в сторону на стул. Сказал:

– Расстроенное. Рухлядь.

Неля прицеливалась в клавиши указательным пальцем. «Сейчас: чижик, пы-жик», – подумал он, и ее палец нерешительно стал выбивать «пим-пам, пим-пам, пим-пам-пам»... Крышка захлопнулась.

– А ты играешь, Юра? Ну сыграй...

– Я уже ни одной ноты не помню. Сюда бы сейчас Кима Рыжего.

Ким Лабунов, знаменитый на весь город математик из их класса, Ким Рыжий, рохля и добряк, которому на школьных вечерах часами не давали встать из-за рояля, – едва не вылетел из школы накануне выпуска. Кто-то его уговорил играть в оркестре ресторана «Радуга», и он уже немного подрабатывал, когда дознались об этом завуч с директрисой. По правде, Ким играл там потому, что ему нравилось, но и от платы тоже не отказывался. Это все знали, вот поэтому и возмутились страшно, когда оказалось, что Ким уже висит на волоске, несмотря на свои подвиги в городских и республиканских математических олимпиадах.

– О-о, Ким – король! – Она даже зажмурилась. – Мне в «Радуге» сыграл мою любимую «Зиму»... «Ким, ну сыграй», – прошу, а он все упирается. «Кима, ну, Кимушка, сыграй...» Сдался, конечно. Как всегда. Ох, и играл тогда!..

Она дотронулась до стопки его книг на пианино и, подравнивая ее, слегка погладила зеленое стекло стоявшей там настольной лампы. И он опять подумал с беспокойством, что

вещи в комнате ей нравятся, но и смущают чем-то. Может, невольно заставляют сравнивать его квартиру со своей, чувствовать разницу между их семьями и помнить мачеху, скандалы на всю улицу и пьяного отца. Он щелкнул ногтем по абажуру лампы и презрительно сказал:

– Стекляшка, только собирает пыль.

Неля молчала, как молчат из вежливости, но не соглашась. А он чувствовал, что готов уже все тут высмеивать, лишь бы она освободилась от стеснительности, которая ему мешает, сковывает в чем-то.

– Да ты садись, – он снова показал ей на диван.

Она послушно села, в том же углу и точно так, как раньше.

– Хочешь, я чаю принесу? – спросил он.

Она с улыбкой покачала головой, отказываясь. Но он достал из серванта коробку мармелада, перевязанную красной ленточкой, – это был подарок маме от Мишуши – и начал открывать.

– Нет-нет, зачем ты открываешь! – Неля остановила его руку. – Она не начата, так и не надо. Слышишь?

Теперь они сидели рядом, почти касаясь друг друга. Он подумал, что надо взять ее за руку, но не осмелился. Неля молчала, и он мучил своей нерешительностью и боялся, что она встанет, может, даже уйдет.

Прогрохотал трамвай на улице. Гулко и пусто, точно крышка в большом ящике, хлопнула дверь соседнего подъезда, и все стихло.

– Как тихо, – медленно сказала Неля.

Он поднялся, потом сел на корточки возле дивана, стал гладить ее ноги, обнял колени и прижался к ним лицом. Они были прохладные и круглые, а под коленями он почувствовал ладонями теплую нежную гладкость. И это была Неля: как после внезапного толчка, он ощутил вдруг ее всю, целиком, со всем тем тайным и влекущим, женским, чего еще не только не знал

в ней, но о чем, оказывается, и не догадывался, – так сильно и радостно-страшно отличалось оно от созданного в воображении.

– Юра, ну что ты... – зашептала Неля. – Слышишь, Юра... – и потом что-то еще, он слышал и не слышал, потому что ее ладони были на его висках и теперь двинулись к затылку, наполняя уши теплым шумом, – двинулись медленно и осторожно, так нерешительно, что он подумал: вот еще миг, и Неля уберет их, снимет. Но миг прошел, а ее руки продолжали свои осторожные движения, словно раздумывая и одновременно успокаивая его.

Тогда он встал и, наклонившись, взял ее за плечи, хотел по имени назвать, только с дыханием справиться не удалось. А Неля, опершись руками за спиной, растерянным и благодарным шепотом просила: «Юра, ну успокойся, успокойся», – и все смотрела на него с улыбкой тихого и радостного удивления, так, словно спрашивала что-то у себя самой.

– Неля, – удалось ему проговорить наконец, но ее влажная, горячая ладонь легла ему на губы, закрыла рот.

– Это все я, дурная... Мне не нужно было...

Но он уже не слышал ничего, жадно вдыхая запах ее шеи и волос, гладких, скользивших под губами. Легонько стукнула, свалившись на пол, туфелька.

– Юра, не надо, лучше полежи так...

И, ощутив подъемом ноги несмелый упор ее голой маленькой ступни с упруго распрямившимися, потными после тесной «лодочки» пальцами, он вместе с новой волной желания почувствовал, что ему хочется сказать Неле какие-то нежные слова. Руки его уже ласкали под одеждой всю ее, а Нелина рука их находила и сжимала, и в этом был немой запрет, призыв, и вместе с тем какая-то стыдливая признательность за что-то. «Ох, Юрка, все из-за меня... ну что я делаю...» В последний миг она ладонью закрыла ему глаза.

...Неля стояла перед зеркалом. А он стоял за нею и видел в зеркале ее лицо, молча смотрел, как поправляет она волосы. Хотелось взгляд ее поймать, и все не удавалось. Хотелось что-то угадать в ней, найти самые нужные сейчас слова. И уже до того, как Неля вдруг сама заговорила, только заметив, как ее руки задержались на щеках, пока еще не скрыв, не спрятав все лицо от зеркала, от себя самой и от него, – уже тогда он почти догадался, как будет дальше.

– ...Так все случилось, понимаешь? Да, случилось. – Голос ее из-за ладоней, закрывающих лицо, был глуховатым, носовым, будто при сильном насморке. – Из-за меня все. Ты тут не... Мы же с тобой по-настоящему и не знакомы... были. Ты про меня что хочешь думай. Все знаешь сам. Только теперь вот, здесь – это не значит, что я и вообще... И ты не думай. Я сейчас пойду. Только встречаться мы не будем, ладно?.. У вас так хорошо... Ты не иди за мной!

Она метнулась к двери, обернулась на пороге:

– Ты не ходи!..

А он стоял, не двигаясь, и уже слышал ее торопливые шаги в пустом дворе.

Вверху, в квартире Жданов, грянул первый аккорд гимна, за ним вступили голоса, потом громкость уменьшилась – это, наверно, старый, глуховатый Ждан, как и всегда, сверял часы по радио, ставил на утро.

Двенадцать. Скоро должны были вернуться мать и бабушка.

Глава шестая

Кухня в квартире Антоневиной. Вечер, девятый час. Тусклый свет лампочки, шипит на электроплитке чайник.

– Ты в доме не насвистывай, – сказала бабушка, когда он вошел в кухню. – Взял себе моду.

– А что, нельзя?

– В своем доме не свищет человек. Не ветер в поле. Это как немцы были тут, так все свистели. Им все равно было, что на дворе, а что под крышей. Вот их и высвистали всех отсюда. Небось своих домов там тоже не нашли.

– Только поэтому их выперли, по-твоему? Только – не только, а вот досвистались, понял?

«Не в духе наша Каролинка, а с чего?..» Бабушка яростно, со злостью скребла под краном черный бок кастрюли обломком столового ножа – скрежет и визг, хоть уши затыкай.

Взяв с подоконника кружку, он из-за бабкиной спины поставил ее под струю воды и, пока пил, смотрел на согнутые узенькие плечи и видел, как свободно ходит под коричневым жакетом бабкина тонкая, крылом торчащая лопатка.

Вдруг ее плечи еще больше сузились, чуть приподнялись, она быстро и мелко закивала головой, и он сказал растерянно, с легкой досадой:

– Ну вот... Чего ты плачешь?

– Если б врагов только... – протяжным тонким голосом начала она сквозь слезы. – Если б врагов, а то своих... высвистываем...

– Кто? О чем ты?

– ...ей все не нравилось в Мише, все. Я ж это видела, я видела... Только молчала. А он к ней всей душой, к тебе... Как ни приду теперь к нему – он сразу: мама, ну как там Лида, Юра? Чужие люди, кто не знает, так подумают, что он и виноватый перед нею. А он вот и сейчас, как лишняя копейка, так сразу – мне, чтобы до Лидиной полочки нам свободней повернуться, только б сама она не знала... Ты без стипендии тогда остался – он же до ночи не вылезал из мастерских. Хоть и не надо было, подловил себе халтуру – с напарником, с тем Колей, подвезло... А ей – ну все не так. И учит его, учит и муштрует. Все хочет, чтоб он лучшим стал, стыдилась его...

Сестра, а допустила и сама так сделала, что брата на пороге нету уже с год... А кто к нему сходил, узнал, как человек живет там? Ты ж не сходил вот...

Как всегда, когда неожиданно чувствовал себя виноватым в том, о чем раньше не думал, он ощутил сперва одну досаду, а потом нетерпеливое желание как-то поправить все: не то чтоб прямо убедить совсем в обратном, а доказать нечаянность этой своей вины, случайность, как бы невзাপравдашность. И, как всегда, хотелось это сделать сию минуту, с места не сходя, все в нем противилось укору, как незаслуженному злему обвинению.

Он дотронулся до бабушкиного локтя – острого и легкого, костлявого даже сквозь плотную заплату на рукаве, – собираясь что-то сказать. Но не нашелся, отнял руку и молчал.

Бабушка что-то еще говорила – он уже не вслушивался, все было и так понятно, – потом вытирала краем передника глаза и нос. А он по-прежнему смотрел на ее сгорбленную спину и теперь со стыдом чувствовал, как права эта спина, права настолько, что уже и не укоряет больше, не ожидает ни раскаянья, ни возраженья, вообще не требует от него слов и вместе с тем готова терпеливо слушать их, любые, – словно подставленная, чтобы он сложил их на нее, привычно помнящая, что ему не обойтись без оправданья.

Только язык не поворачивался сказать ей, что он как раз сейчас вернулся с Железнодорожной, от Мишуши. Смолчал не потому, что не застал его. А потому, что просто с дельцем забегал. Приспичило, прижало.

– Иди же ужинать, – позвала бабушка уже из комнаты.

Есть не хотелось. Ел, чтобы не обиделась. Не подымая от тарелки голову, гадал – смотрит или не смотрит? Не утерпел и бросил осторожный взгляд: нет, не смотрела. Крупу перебирала, стоя у окна. Легонько, быстро, как и в кухне, двигались локти с серыми заплатками, сутулилась спина. «Сколько она

стоит вот так? Сколько я помню. Всегда... Над раковиной или над корытом с мыльной пеной, у плиты, или скоблит старый кухонный стол, раскатывает тесто на клеенке, – всегда, только не замечаешь, не смотришь даже, до того привык...»

Стало вдруг жаль ее. Тебя вечно несет куда-то, что-то случается с тобой, потом проходит, новое летит, – а может, вот на ней все это незаметно оседает, как-то откладывается, пусть даже ей и ничего не говоришь. И может, ей уже не нужно обращаться, даже и слушать, чтобы все понять. Достаточно стоять здесь, за работой, быть среди них... Руки ее без устали, привычно двигаются, двигаются – ткут, ткут невидимую нить – в надежде, что безостановочной работой в доме удастся все скрепить и удержать...

– А я как раз недавно собирался к дяде Мише, – сказал он. – Правда. Ты не веришь?

– Я верю, верю... Как-нибудь сходи.

Она вздохнула, пошла в кухню с освободившейся зеленой миской. Струя воды гулко забарабанила в пустое дно.

Из дома он сегодня вышел в половине первого. Косо, рассеянно летел под ветром дождь. Проблескивало солнце. Мокрые листья расплзались под ногами у спешащих людей, как обрывки намокшей бумаги. Он засунул обе толстые тетради с конспектами за борт плаща, но гладкие обложки там скользили, пришлось придерживать рукой. Потом достал повестку из одной тетради, переложил ее для верности в карман, где лежал паспорт.

Повестку он нашел в почтовом ящике сам – мать, уходя утром на работу, газеты не доставала – и медленно, два раза перечитал серую полоску, где между печатных строчек была вписана его фамилия, такая чужая, как показалось в первый момент, хотя и с правильными, именно его инициалами.

Не почувствовав ничего, кроме удивления и любопытства, он подумал, что мать ничего не знает и, значит, не придется видеть ее лица, наверняка бы принявшего то выраже-

ние, с которым она в последний школьный год читала в его дневнике вежливые приглашения классного руководителя Модеста Евгеньевича.

Он слишком хорошо знал это ее выражение – подчеркнуто скорбное, а потом гневно-торжествующее: «Я как в воду глядела!» Она собиралась в школу быстро, решительно, не желая слушать его объяснения, отменяя все попытки успокоить ее или оправдаться. «Вызывают – значит натворил! Какое еще «может»? Мне будет стыдно – мне, а не тебе!..» – и что-то еще в том же духе, с каким-то даже азартным нетерпением поскорей убедиться в своей правоте, в том, о чем она «так и думала» и «всегда знала», – будто эта ее правота и была тут важнее всего. Двери хлопали, что-то падало вслед, гремело, а он уже видел ее, входящую в учительскую: чуть откинута назад голова и лицо человека, не только не ожидающего снисхождения, но отвергающего его с порога, заранее принимающего даже самое худшее, чтобы, не дай бог, не показаться слепой защитницей своего сына.

Повестка вызывала его к часу дня. Лекции начинались в два, и он подумал, что первую из них можно свободно пропустить, сказав потом старосте группы Дорогавцеву, что задержался до начала третьего, – мол, очередь была. Демобилизовавшийся со сверхсрочной службы Дорогавцев – «сержант», как его звали за глаза на курсе, – на просьбы не отмечать в журнале пропуски поддавался очень туго, шел на это дело со скрипом. Кроме справок, на него действовало только четкое перечисление каких-либо дат, учреждений, часов приема. Тогда «сержант» что-то рассчитывал и кивал.

Вспомнив о Дорогавцеве, он вдруг подумал, что вызов связан с чем-то совсем не институтским, – иначе бы он знал или хотя бы мог предполагать. Скорее всего, вызывали ради какого-нибудь уточнения в документах, хотя и это было не совсем понятно. И все-таки причин для беспокойства – никаких.

Он вышел к площади Свободы и стал ее пересекать, воспользовавшись небольшим разрывом в цепи грохотавших расхлябанными бортами грузовиков, блестящих гладкими спинами «Побед» и кургузых «газиков» с намокшими брезентовыми крышами. Площадь подымалась к середине покатым холмом и там, на возвышении, обведенном трамвайными рельсами, был похожий издали на остров скверик с никогда не работавшим фонтаном, голубовато-серыми скамейками под тополями и с газетным стендом. Любимое когда-то место, где навсегда уже, наверное, заучен каждый выступ придвинувшихся к площади зданий, – оно было в точности таким же и в первые послевоенные годы, каким-то чудом уцелев среди сплошных развалин городского центра. Все было тут, вся жизнь заключалась тогда в круге этой площади.

Плыли в закате медленные, пахнувшие теплой пылью вечера. Они сидели под деревьями на своем острове. Готовилось кино у музыкальной школы, между деревьями натягивали полотно, машина с кинобудкой все не приезжала. Возле зеленого фанерного киоска «Пиво» страшно дрались костылями инвалиды. Нестройные звуки рояля и скрипок доносились из освещенных, как-то по-праздничному открытых окон консерватории. А рядом темнели развалины гостиницы «Европа», из подвалов которой, рассказывали, уже зимой, спустя полгода после освобождения города, выбежали среди бела дня два обезумевших, заросших немца, – их сразу взяли солдаты из близкой отсюда комендатуры, а потом приехали другие и обыскивали, включив прожектор, подвалы до позднего вечера... Салюты раньше тоже были здесь, на площади. И в праздники, октябрьские и майские, возле фонтана в сквере танцевали, бухал оркестр – даже подрагивали листья на деревьях – и от тугих ударов колотушки съезжал к краю скамейки барабан...

– Восьмая комната, – сказал ему дежурный.

Он подошел к двери, хотел постучать, но она открылась, и появившийся на пороге полный мужчина в синем кителе спросил:

– Сюда? – и, не дожидаясь ответа, громко и весело проговорил через плечо в комнату: – Вот, следовательно, принимай своих гостей! Потом еще зайду, Степанович...

За столом у окна сидел средних лет человек в штатском, с широким спокойным лицом. Он кивнул, тихо сказал: «Садитесь», – и потянулся к бумагам, лежавшим слева, на краю стола.

– Тут вот, значит, какая штука... Вы же Борщук Степаниду Ивановну знаете? Ночную сторожиху скупочного магазина на вашей улице?

– Знаю, – ответил он и, хотя еще минуту назад не чувствовал никакого беспокойства, теперь мгновенно ощутил облегчение от того, что речь идет не о нем.

– Ну, а двадцатого июня, так, скажем, часов в двенадцать ночи, или позднее, не видели ее? – спросил следовательно с улыбкой, рассматривая вынутый из папки лист бумаги. И вдруг добавил, точно услышал уже утвердительный ответ: – Скажите, Борщук была одна там?

И тут все сразу вспомнилось: ночная улица, разрытый тротуар и голоса за приоткрытой дверью магазина, красное, рыхлое лицо, – да, Степанида, а с ней Неля и та длинная...

– Да, я все помню. Шел тогда домой и слышу – говорят там. Свет какой-то. Ну, заглянул. А там она сидит...

– Одна?

– Нет, еще девушки.

– Сколько их было?

– По-моему, две, – ответил он, в последний миг успев зачем-то вставить впереди это «по-моему».

– Вы их не знаете?

«Что говорить?» – мелькнуло у него. Но тут открылась дверь, и на пороге появилась высокая узкоплечая фигура ми-

лиционера, которого он сразу же узнал. Это был Агурейчик, прежний их участковый, прозванный в квартале Пихтой – наверное, за свою привычку подолгу и уныло, даже как-то обиженно торчать среди двора, прежде чем зайти в нужную квартиру.

«Что отвечать?» – все думал он, пока Агурейчик и следователь разговаривали. «Про Нелю не скажу. Что бы там ни было». И в то же время с тоскливым беспокойством чувствовал, что умолчать ему хочется не из-за Нели, а чтобы поскорей отделаться и самому не оказаться втянутым во что-то.

Агурейчик, сутулясь, вышел, и следователь поднялся из-за стола.

– Так вот, эти две девушки... Вы знаете их?

– Я? Нет... – и как сказал, так сразу и почувствовал с испугом, что уже втянут, что уже стоит на чьей-то стороне.

– А описать хотя смогли бы?

– Света там мало было. Кажется, свеча... Нет, не запомнил.

В комнате было тихо. За окном, выходящим во двор, слышались детские голоса, и равномерно, как-то очень мирно и невинно, незамешанно ни в чем, все шлепала и шлепала об асфальт скакалка.

– Да-а, – протянул следователь, складывая бумаги в ящик стола. – Как говорится, дело ясное, что дело темное. Вот Борщук эта в заявлении пишет, что вы заходили. Ну, а пропавшие там вещи предлагает нам искать у этих девушек.

– Я... я не брал там ничего. И даже можно сделать...

– Обыск, да? – следователь засмеялся. – Глупости, этого еще не хватало... Я немного знаю вашу мать, Лидию Казимировну, – так, кажется? Да и, вообще... С Борщук этой все просто. Грешки ее известны, вот и поплатилась. Ей двести шестьдесят рублей надо вносить – насторожила себе на голову! Платить не хочется, конечно, – ну и заявление нам: ищите девушек, которые к ней заходили. А что наверняка впустила их

по дружбе, чтобы уютно угоститься или просто так, – про это ни полслова... Вас не забыла – авось, вы поможете ей расхлебать.

Следователь наводил порядок на столе, собираясь, кажется, уходить. А он смотрел на него, слушал и вдруг вспомнил – увидел ясно, как в тот самый миг, когда поворачивался, чтобы выйти тогда из магазина на темную улицу: ныряющее, быстрое движение вниз той длинной, Нелиной подруги, ее что-то поднявшую с пола руку... «На что рассчитывает Степанида? Не видела, кто взял? Да. И, скорей всего, ту длинную не знает. А Нелю, как свою знакомую, ей не с руки назвать. Ей выгодно, чтобы я назвал, свидетель...»

– Нет, я не знаю их, – сказал он еще раз.

– Возни нам этой еще не хватало, – поморщился следователь, доставая расческу. – Конечно, больше сторожем ей не работать. Ну, уплатила б сразу, по-хорошему, как говорится. Ведь все равно придется. И нам бы легче, правда? – Он снова засмеялся и пошел к двери, пропуская его вперед.

До начала лекций оставалось около четверти часа, и можно было, наверное, успеть. Но он нерешительно двинулся вверх по улице, мимо кафедрального собора, не зная, сесть ли на площади в трамвай, или пройти еще пешком. Хотелось только одного – быстрее понять, чем может грозить эта история, если она еще не кончилась для него. Но понять ничего не удавалось, все казалось неопределенным. Несколько раз он повторял себе: «Нелю не выдал», – только ни радости, ни облегчения от этого совсем не чувствовал. Единственное, в чем еще везет, решил он, так это то, что мать пока не знает. Но неизвестно, как там будет дальше. От Степаниды этой можно ждать всего.

Опять шел дождь. Он втиснулся в трамвай и, дыша сырým запахом мокрых плащей, решил обдумать все на лекциях.

Звонок застал его в гардеробе. Через минуту, уже устриваясь на заднем ряду в актовом зале, он увидел впереди со-

средоточенную спину «сержанта» Дорогавцева, склонившегося над журналом группы (над чем же еще?), – и почти обрадовался, что успел вовремя, чувствуя, что объяснять тому свой пропуск было бы сейчас особенно неприятно. Но ощущение какой-то скрываемой и неясной самому виновности становилось все сильнее. Представилось, какие лица были бы у ребят в группе, если б стало известно, что его сегодня вызывали в милицию. И, прежде всего, у парней из деревни, живущих в общежитии, – уже почти привыкших к городу, к сокурсникам из городских семей, но относящихся к ним еще по-деревенски сдержанно, порой чуть настороженно, словно не зная, чего ждать от людей, чью жизнь всю, целиком, они не видят. На их лицах, наверное, было бы и любопытство, и смущение вместе с не добрыми, но и не злыми, только житейски-хитроватыми улыбками, которые не поторопятся ни высмеять, ни оправдать.

Он положил перед собой тетрадь и постарался побыстрее выключиться из всего вокруг и думать только о недавнем вызове. Тут и стараться, в общем-то, не нужно было, все завертелось сразу, точно в колесе: мысли о Неле и о том, чтобы дома не узнали, чтоб не дошло до института, потом – вопросы в кабинете и свои ответы. И над всем этим одно висело – противная, мешающая думать боязнь. Боязнь своей уже причастности к тому, что называлось «делом» и находилось сейчас в ящике служебного стола, в бумагах, где есть его фамилия и адрес.

«Чего я дергаюсь, ведь я не виноват ни в чем». И вдруг подумал, что не будь в том магазинчике пропажи... Ей надо денег, этой Степаниде – вот что! Тогда конец и всей «возне», как сказал следователь. А Степанида тянет и не платит, пока у нее есть хоть какой-то шанс. Ну, так вот взять и всунуть ей те деньги!.. Пусть платит в торг да забирает заявление. Дело заглохнет, кончится. И не откажется она – не так глупа.

Он стал соображать, где можно взять эти деньги. Почти стипендия... Сразу решил: на курсе не просить. Дом исключался тоже. И тут до удивления спокойно, просто, как нечто совершенно ясное – и казалось, давно решенное – пришло: «А у Мишуши». И непонятно даже было, как он об этом сразу не подумал. Да, выход есть всегда. Только не суетиться. Самое главное – раскладка вариантов. А то замельтешил. Да и, вообще, нагромоздил бог знает... Одно только вдруг показалось странным, и он задумался, так ли это было на самом деле. Вроде бы он сегодня о Мишуше вспоминал уже. Но мысль эта тогда явилась не сама. Что-то ее там подтолкнуло – что-то, похожее на смутную догадку, что, может быть, Мишуша и понадобится скоро как запасной вариант. Да-да, вот там, в милиции, – ну как же он забыл? – когда тот спокойный широколицый человек стал складывать бумаги, а он сказал себе с надеждой: «Может, уходить собрался...» И даже раньше, сразу после слов: «Платить не хочет – ну и заявление нам: ищите». Тогда вот ясно и быстро так представилось, как дядя у себя на Железнодорожной, будто бы понявший все с полуслова и не желающий входить в подробности, неторопливо повернувшись, открывает ящик своего столика возле окна («А там же столик, там же его столик», – сказала бабушка давным-давно, когда пришли в освобожденный город) – он открывает ящик, отгибает край газеты, посланный на дне, и, взяв оттуда деньги, протягивает их ему... Конечно, все это мелькнуло еще в кабинете. Как странно...

Звенит звонок. Осталось три часа, и он решает высидеть их все, потом – к Мишуше. «А это даже и не столик у него. Просто смешная тумбочка такая, довоенная... Какой уж там столик...»

Мишуши дома не было. В замочной скважине торчал свернутый трубочкой клочок газеты. На белом поле возле заголовка он разглядел старательно выведенные карандашом

слова: «Буду после 11-ти ночи. М.» Он улыбнулся этим «11-ти ночи», постоял немного на крыльце в густевших сумерках, напрасно пытаюсь вспомнить, когда был здесь в последний раз. Потом опять свернул записку. Что-то в записке было такое, будто Мишуша написал ее для него. Будто бы все надеялся, что он придет... Не исключал. Он вдруг почувствовал укор себе в этой дядиной надежде. И вместе с тем хотелось почему-то думать, что сам Мишуша уже знает все, и завтра не понадобится ничего объяснять. И что записка эта – и есть его вечное «само собой», – его согласие, готовность поддержать, помочь без лишних слов.

Он знал, что все с Мишушей будет просто и легко. Уверен был – завтра все устроится.

Домой он ехал в троллейбусе, и место досталось хорошее, у окна. Он смотрел, как летят мимо вечерние огни, и ни о чем не думал.

Глава седьмая

На следующий день у Михаила Казимировича Антоневича.

...Как только вышел на Железнодорожную, так сразу же и бросилось в глаза, приблизилось, точно с киноэкрана: водонапорная колонка слева от булыжной мостовой и желтый дом, единственный тут двухэтажный, каменный, а рядом, под деревьями – тот низкий, деревянный, который помнится как первый в жизни дом, но о котором вчера вечером это не вспомнилось.

А дом этот по-прежнему на своем месте – плывет и в нынешнем, и в давнем времени, когда, бывало, возвращаешься домой и издали заметишь, как маячит у колонки фигура дяди Миши или мамы, а то и бабушки с коромыслом; приблизишься – уже встречает с полными, подхватываешь, тащишь, в вед-

рах колыхнется тяжелая и плотная, холодная вода (и даже чувствуешь, как дно под ней упруго прогибается), а сверху плавают бабкины деревянные кресты, чтобы вода из ведер не выплескивалась... В том давнем времени – но не теперь.

Все это уже сплыло или расплескалось, впиталось в жаркую под солнцем землю у калитки или в утоптаный до скользоты, посыпанный золою снег, – давно исчезло в череде тех лет и зим. Но что-то же осталось. Должно остаться. Вот тот же двор, только сейчас он меньше и темнее от разросшихся кустов сирени. То же крыльцо, только с него вдруг с лязгом катится консервная жестянка, и сразу – громкий, но не злой, а просто не согласный с твоим появлением лай собаки и затем новый лай, спешащий на подмогу от сарая... И тут же – он едва успел подумать: «Вчера их не было, мне не хватало еще перепутать дом!» – тут же распахивается дверь, и из нее, как нечто вполне зримое и неотъемлемое от знакомого темно-коричневого лица и разваливающихся черных с проседью волос – гулко спешит навстречу, радуясь и одобряя, голос:

– Ну, Юра, ты и подгадал! Вот молодец!..

И, протянув к нему обе руки, Мишуша стал спускаться, и только обнял его, как собаки сразу же замолкли.

– Входи, входи, мы только что присели. Как знал. Вот молодец! И правильно – сегодня ж воскресенье, – гудел Мишуша, поднимаясь по ступенькам. И, показав на собак:

– Вот удивился, да? Я вроде как ветеринаром тут заделался, с приبلудными вожусь. Вчера на целый день устроил к Бабичу – ты его помнишь? А он с утра сегодня мне их приволок. Очухались уже...

В комнате за столом, сверкая медной лысиной, сидел огромный Бабич, давний приятель Мишуши, живший раньше в конце улицы, за переездом. Бабич осторожно, вежливо приподнялся и с серьезным видом подал ему тяжеленную ладонь.

– Ты наливай моему племяннику сначала, Бронислав Игнатьевич, – сказал Мишуша и весело взрыхлил обеими руками свои волосы.

Потом было легко и хорошо, приятно, и очень нравились и Бабич, и Мишуша, и не хотелось вспоминать о том, за чем сюда пришел.

Он вышел в сени, оставив незакрытой дверь, и зачерпнул кружкой воды из полного ведра. Дверь на крыльцо тоже была открыта. Собака поднялась и, виновато повивая хвостом, опять легла. Из комнаты был слышен медленный застольный разговор, попавший, видно, снова в колею начатой раньше темы. Голос Мишуши гудел низко, с хрипотцой: «...тогда он стал ей говорить, как плохо у него с женой и как она его не понимает, – ну, в общем, ты сам знаешь что». И Бабич: «Что я знаю?» – «Да обожди ты! В слове не уступишь, готов прямо язык мне защемить. Ты слушай...» И Бабич, так же неподатливо, но с любопытством: «Ну?» Тогда опять Мишуша, терпеливо: «Ну, в общем, стал ей говорить то, что она сама хотела слышать, понимаешь? Что вот, мол, так и так, чужой в семье. И что жена перед людьми уже стыдиться его стала, только молчит, виду старается не подавать...»

Он больше не прислушивался, спускаясь с крыльца, входя, как в воду, в осенний сырой воздух двора с холодными запахами еще темно-зеленых листьев сирени и свежих опилок. И тут почувствовал, как что-то на миг зацепило его внимание – не в долетавших еще из комнаты словах, а в самом этом спокойно-монотонном, глуховатом гудении голосов, – но только на миг, и сразу же ушло. Но спустя несколько минут, когда он сидел под окном на почерневшей скамейке, это опять приблизилось, и он, даже не сделав ни малейшего усилия, вдруг ощутил, как четко оно выступило, – будто чей-то голос сказал: вот они там сидят и говорят, не важно что, они – в беседе, им только это нужно друг от друга, и нет никакой иной

причины в том, что они здесь. Им просто хочется быть вместе – вот и вся «причина». И, не давая себе увильнуть от этой мысли, он закончил: «И я бы тоже мог вот так сидеть с Мишушей. Он же уверен, что я просто так пришел».

Вернувшись в дом, он сел опять к столу и потянулся к пачке «Севера», лежавшей возле Бабича.

И Бабич, показав кивком Мишуше, что продолжает слушать новый, только что начатый рассказ, предупредительно взял желтый коробок и, сухо зашуршав им в толстых пальцах, не чиркнул, а только провел по нему спичкой. Спичка была до удивления крохотной в его ручище – совсем как те мелкие деревянные гвозди, «тэксики», которые Мишуша когда-то держал в специальном мешочке для домашней работы на заказ.

– Ну, а когда нас там освободили, – Мишуша тоже потянулся к папиросам, – вот тогда... Да я уже говорил, наверное... Тогда сказал себе, что, видно, буду теперь вечно жить. Помню, стоим уже рядом с машиной санитарной – фургон такой с колонкой генератора возле кабины – а там, в колонке, маленькая круглая задвижка, она колышется, дрожит – тепло, тепло оттуда... И хочу руки протянуть, не то чтобы согреться, а обхватить вот, кажется, обнять эту колонку – и все... Тут дверку сзади открыли. Я первый был, а взялся за нее и вижу – не смогу залезть, и плачу. «Давай, батя, давай!» – кричит мне лейтенант от кабины и отвернулся, санитарку в ватнике зовет: «Верушка, скоренько подсаживай!» Я как услышал это его «батя» – точно со стороны себя увидел, понял все: мне же тогда и сорока еще не исполнилось... Вот же свобода твоя, говорю себе, – прямо за тобой приехала, успела, чтобы опять в жизнь тебя везти. А ты подняться, дотянуться до нее не можешь. Напрягся, в голове поплыло – как-то вполз. А лейтенант кричит, чтобы я к стенке сдвинулся, – сзади еще другие. Я чувствую, что будет обморок сейчас, успел перевалиться к стенке и думаю: надо же скинуть с ног эти пудовые, долбле-

ные, из дерева, колодки – они, наверно, места занимали, что половина всех моих костей. Ну, шевельнул ногами, а колодок нету, свалились, слава богу, пока лез. Тогда колени подтянул и отключился, все... В общем, веселая была картинка.

Мишуша, улыбаясь, кашлянул, умолк. Бабич разлил по рюмкам оставшуюся малость.

– Да-а Миша, – протянул он, выпив, – вернулся ты, конечно, с того света. Не говори...

– Да что там я... Плечо бы не прошило, не контузило, так хрен бы я им дался. А там, глядишь... Сорок четвертый уже близился. Ну, а у вас тут свет был тоже... не того.

– Не говори... – Бабич локтями оперся на стол, сидел тяжелою горою. – Правда, и мы здесь им старались... поднести. Пошурудили на железке... А в лес тогда втроем ушли – я, помнишь, говорил – и прямо из депо, домой даже не заходили...

– Ага, – Мишуша показал на Бабичевы руки и весело сказал: – Ты, Бронислав, мог и без тола обойтись! Посвязывал бы рельсы узелками, песочком бы присыпал – и конец. Не развязали б немцы. Сами бы и рвали. Так, Юра?

Бабич убрал громадные ручищи со стола.

– А знаешь, задушил я одного...

– Ты не рассказывал, – тихо сказал Мишуша.

– А что рассказывать... Снимали часового с насыпи. Ну, вышел на него, как положено, сзади. Думал, сейчас одной рукой за автомат, другой закрою ему фотокарточку, чтобы не пикнул. И что ты думаешь – перемудрил. А он как черт. Он сапогом, холера, вот сюда мне, понял?

Мишуша коротко кивнул, но Бабич, словно не удовольствовавшись этим, повернулся от Мишуши к Юре и с чуть растерянным и смущенным выражением продолжал:

– Ну, в это место, грубо выражаясь... Вы понимаете.

Мишуша хохотнул:

– Да он не медик, Бронислав, не объясняй. И не стесняйся: Юра филолог, все деликатные слова поймет. Ну, в пах – скажи.

– Я думал, кончусь. Как ватный сделался, падаю вместе с ним в снег. А как он снизу оказался, я своей правой его руки и зажал, а левую – на горло. Как собаку... Озверел. А мог бы взять живым.

– Ну, а зачем он вам живой? – сказал Мишуша.

– Да я тогда не думал. Может, в работу бы какую запрягли.

– Битюг был?

– Нет, цыпленок. Лет девятнадцать, рыженький. Правда, как вьон крутился, укусить хотел...

Он слушал Бабица, смотрел на синеватый клуб дыма перед Мишушей и вдруг почувствовал, как это приближается опять: отчетливое понимание не то чтоб неуместности, но как бы незаконности своего присутствия в кругу людей, где его приняли как равного, а главное, пришедшего без всяких там «причин», лишь для того, чтобы побыть тут вместе с ними. И он увидел все, точно со стороны: вот он сейчас сидит тут, в доме, где он рос, и слушает двух пожилых мужчин, можно сказать, слушает их жизнь (и это обращенное к нему, стеснительное, как бы в оправдание: «Вы понимаете?»). Да, а потом, после всего, что ими говорится, вспоминается, – потом, выходит, он возьмет и скажет одному из них: «МНЕ ДЕНЕГ НУЖНО, ЧТОБ ЗАМЯТЬ ОДНУ ИСТОРИЮ. Я И ВЧЕРА ЕЩЕ ЗА ЭТИМ ПРИХОДИЛ».

И вот если бы этот человек был не Мишуша, то он бы мог, наверное, съязвить в ответ: «А-а, денег, только и всего? Так – на, возьми, вот плата за твое присутствие». И, чтобы уже доконать: «Чего ж ты с самого начала не сказал? Столько сидел, томился, делал вид...» Но он поймал себя на том, что представляет, слышит, как возразил бы – твердо, горячо: «А я не делал никакого вида! Может, мне все это на самом деле инте-

ресно, важно. Может, я только здесь и начал что-то понимать в таких, как вы». Да, возразил бы, потому что это – правда...

Бабич собрался уходить. Мишуша убирал посуду со стола, складывал кости для собак в пустую алюминиевую миску.

– Юра, а речки моей больше не хочешь, значит? – Мишуша весело, с лукавством посмотрел из-под свалившихся на лоб волос, уже готовый рассмеяться. – А хорошо дерет, аж прожигает все внутри...

– Нет, не могу, – ответил он и улыбнулся: редьку Мишуши есть мог только он сам. Это была его любимая закуска. Он покупал редьку горчайшую, и раньше, когда еще обедал вместе с ними, то приносил ее в портфеле, вместе с четвертинкой, и тер, а потом солил нещадно, отвергая бабушкины попытки полить ее подсолнечным маслом. Все остальные овощи он не любил, ел мало. Зато, бывало, повторял, когда впервые летом появлялись на столе молодая картошка или помидоры: «Ты, Юра, ешь, а про себя говори: новина в рот, здоровье – в живот, медвежья сила, зайцев поворот».

– Ты бы пока прилег там у меня, – сказал Мишуша. – И «Спорт» возьми на подоконнике, вчера купил.

Он взял «Советский спорт» и прошел за перегородку.

Глава восьмая

Крохотная, «задняя» комнатка в квартире Михаила Казимировича. Низкая узкая кровать, стул, тумбочка возле окна.

Сняв туфли, он лег на спину. Слегка кружилась голова. Снаружи под окном слышались голоса – это Мишуша с Бабичем прощались. «Вот, Бронислав, как принесет щенков, всучу я тебе сучечку. – ну, для развода... Юре? Да Лида против будет, не могу...»

Он слушал эти голоса и вдруг подумал: в конце концов, занять двести рублей – что тут такого? Ведь лучше здесь, чем клянуть у чужих. Но что-то подсказывало ему, что дело не в деньгах, Мишуша даст их с удовольствием – не стоит, мол, и выеденного яйца... А в чем же тогда дело? Во всем... Во всем, что раньше было, жило тут и до чего теперь уже не дотянуться... «Сколько же времени я не был здесь? А года два...» И не тянуло, даже и не помнилось. Не было потребности? Может быть, и так. И уже скоро год, как не приходит к ним Мишуша.

Он вспомнил, что сегодня, в первую минуту, и в дяде, и вокруг него что-то увиделось без радости, с тоской, но очень скоро перестало различаться, – ну вот как если б тень качнувшихся ветвей прошла, скользнула по глазам, а в следующий миг ты сам уже в нее вступил, глаза привыкли и не замечают тени. Да, только на короткий миг это ему увиделось: что-то не просто тусклое, поблекшее, но словно бы остановившееся, выпавшее из привычного ему потока жизни, ее ритма... Эти лицо и голос, дом и обстановка не сохраняли видимых следов какого-либо увядания, запустения. И все-таки он ощутил тогда в жизни Мишуши какую-то... окраинность, что ли? Окраинность даже не в смысле территории и места, края города, а в смысле...

И вдруг он понял: «Время. Ну, конечно же, время». Это он со временем, в котором жил Мишуша, соприкоснулся и вошел в него. Но ощутил только на миг: оно ведь не всегда торчит перед глазами четко обозначенным. Люди не носят его на себе как старую одежду – плотный шевиотовый костюм или перелицованный пиджак с перескочившей вправо прорезью нагрудного карманчика. Одежду можно заменить, как заменяют вещи, – глыбу источенного шашелем комода с кольцами «шуфлядок» или настенный репродуктор – черный покоробившийся круг. Да что там вещи и одежда!.. Крышу над временем своим – и ту можно сменить, сняв зеленеющую мохом дранку или слои

пожухлого, сырого снизу толя и настелив там, как Мишуша, оцинкованную жесть... Вот только само время не заменишь, Твое, оно останется с тобой даже под новой крышей и среди светленьких обоев, под плафоном из «Электротоваров» вместо абажура. Останется, особенно если ты сам хочешь остаться в нем, не покидать его из боязни, что дважды не ступить в одну и ту же реку...

Да-да, Мишушино, словно остановившееся, выпавшее время – вот что, почти неуловимое для глаз, он угадал тут в первые секунды. Мишуша, довоенный человек, преподававший в железнодорожном техникуме черчение, живший по-простецки, добрым, безалаберным холостяком, – он, может, и теперь хотел там оставаться, в довоенном времени. Сам стрелки своей жизни перевел назад, даже не попытался в чем-то измениться и задержался где-то в стороне от времени нового, несущегося все быстрее... Будто стоит вагон на запасном пути, с виду еще пригодный, а между шпал под ним уже пробились чернобыльник и репей.

Мать как-то бросила Мишуше: «Ты не умел и не умеешь жить. И не научишься!» Кажется, это был тот разговор, когда она уже не то что не могла, а просто не хотела сдерживаться и в раздражении своем шла до конца. Он даже видел сейчас выражение ее лица – жесткое, мстительное, как у человека, который мстит уже за собственный, не красящий его, открытый срыв.

Она тогда почти уже кричала на Мишушу: «А это вечное твое юродивое самоумаление?.. Тебя же хлебом не корми, только оставь в покое, незаметненьким. Дай притулиться в уголке – и все. Хоронишь себя в этих мастерских, а мог бы человеком быть, как люди!.. Живешь руками – ну, а голова? Скажи ты мне хоть раз: ты что, боишься показать какое-нибудь превосходство над другими? А в чем? Открой секрет. Тебе удобно оставаться таким простягой: ни зависти людской, ни сложных отношений. Да ты просто лентяй, лежачий камень...»

Мишуша ей тогда не отвечал, как и всегда. Смотрел в окно с какой-то терпеливой неподвижностью, словно не он, а кто-то или что-то там, в окне, должно было ответить, объяснить ей или хотя бы отозваться...

И, вспомнив его вот таким, он вдруг увидел человека в комнатке, сплошь застеленной накрахмаленными бабушкиными салфетками, – этого же человека, но другого, в белой майке, легонько вытолкнувшего в вечерний синий воздух две половинки маленького белого окна... – а занавески чуть колыхнутся, к ним от стола плывет слоями папиросный дым, и низкий женский голос в патефоне поет:

*С майорскими погонами
Вернешься ты домой... –*

и повторяет тот припев:

...Оркестр наш духовой.

И вот теперь тот человек, уже с густою проседью в разваливающейся шевелюре, накормив собак, возится в сених, и моет руки, чтобы потом войти сюда, в эту же комнатку, где слушал те пластинки много лет назад. Тот человек, который раздражает свою сестру уступчивостью, мягкостью и даже добротой, а главное, упрямым постоянством в привычке жить всего лишь как живет, совсем не так, как ей хотелось бы, – наперекор ее желанию.

И когда этот человек вошел и, сев в ногах кровати, тихо спросил: «Так что случилось, Юра?» – словно бы возвращаясь к прерванному (а ведь и не начатому даже) разговору, – тогда он понял, что дядя с самого начала знал, по крайней мере, чувствовал, что племянник пришел сюда, на Железнодорожную, не просто так.

Он тоже сел и, глядя Мишуше в глаза, все рассказал – сначала путаясь, спеша, сворачивая в трубочку газету, затем от-

бросив ее и спокойно, не торопясь. И дядя молча встал, и, сделав шаг до тумбочки возле окна, выдвинул плоский ящик (а он смотрел и с удивлением думал, что в точности вот так и представлял это вчера на лекциях, и еще раньше, в кабинете следователя, когда, казалось, ничего не успевал сообразить, но все-таки успел, выходит, высмотреть эту возможность, позволившую не назвать, не выдать Нелю). И, пошуршав бумагой в ящике, Мишуша вынул деньги, вложил в карман его висевшего на стуле пиджака и снова сел:

– Ну, Юра, как ты поживаешь?

И все. И даже ни полслова про всю эту историю, будто уже отвел ее одним движением руки назад, за спину, оставив там, в кармане пиджака...

Потом Мишуша спрашивал еще, а он рассказывал – о начавшихся лекциях, о том, что через пару дней они поедут в колхоз, на картошку, – и говорить было совсем легко. Мишуша живо отзывался на все шутки, перебивал, жестикулировал, тряс головой, закашлявшись от смеха. И был момент, когда с досадою подумалось, что вот нужны были не просто бабушкины слезы, ее обида за Мишушу, высказанная несчастным, тонким голосом, – понадобилось впутаться еще в какую-то дурацкую историю в скупочном магазине, чтобы прийти сюда и посидеть, поговорить... И только так подумалось, Мишуша, словно он слышал это, вдруг сказал:

– Ты знаешь, Юра... Не ходи ты к этой Степаниде.

И он с недоумением, даже растерянно спросил:

– Так как же?..

– А так. Я сам ей отнесу. Поговорю, как надо. Может, еще и к следователю зайду, чтобы спокойней было. Если Журавский, как ты говоришь, так мы пойдем друг друга. Вроде знакомы были одно время, разберемся.

– А Неля?

– Не беспокойся о ней. Вот Степанида возвратит, что нужно, – и все.

Мишуша закурил, а он достал из пиджака деньги и молча положил их на тумбочку, стараясь, чтобы это не выглядело поспешным и не выдало его чувства облегчения.

Не глядя на него, Мишуша продолжал:

– Ты говоришь вот: Неля. Только... Ты не обидишься?

– Нет-нет, ты говори.

– Ты, Юра, перестань бояться. Ты же ни в чем не виноват.

А испугался и...

– И что? – спросил он торопливо.

Мишуша слабо, будто через силу, улыбнулся, потом, стараясь голосом смягчить и как-то упростить все, сказал:

– Ну, это называется дать ложные показания, – и тут же, словно спохватившись: – Хотя, конечно, Нелю как было называть?.. Другую ты и знать не знал, действительно...

А он только кивнул и ничего не ответил. То, что уже и раньше смутно чувствовал, но не хотел додумывать и гнал, запихивал в какой-то дальний угол, – теперь отчетливо стояло перед ним, от этого нельзя было не только увернуться, но даже и переиначить, перетолковать, – не было выступа, чтоб зацепиться: не Нелю он старался оградить в милиции своим «не знаю», а себя, себя... Нелю «не выдал», чтобы самому не влезть в то дело. Уже тогда мелькнула мысль, как его замаять. А если б не мелькнула?

– Ну, а вообще, наверное, худшей холеры нет, чем страх, – сказал Мишуша. – Никто от него не застрахован. Как налетит... А нужно за рога его хватать. Упрешься крепко сам, так уже не свалит, не растопчет, – можешь верить...

Мишуша говорил слегка смущенно, как человек не то что не привыкший, а просто не умевший наставлять, но в то же время и с веселой твердостью в густом спокойном голосе. И он подумал, что характер дяди – совсем не воск, как мать уверена, и если бы тому пришлось это доказывать... И тут же понял: приходилось – все годы, пока шла война. Да и потом,

когда они с мамой и бабушкой пришли уже в освобожденный город, в этот дом (а через два или три дня был тот ночной налет – немецкие бомбардировщики прорвались, земля ходила ходуном, дом трясло, а они сидели почему-то в сенях, на полу, страх в животе ворочался тяжелым камнем, поднимался к горлу; мать потом долго еще вспоминала, что всякий раз в ту ночь, как бабушка переставала креститься, он торопил: «Ты, бабушка, молись, молись»).

Мишуша вышел его проводить. Собака, что лежала на крыльце, пошла за ним. Возле калитки, уже положив ладонь в теплую руку дяди, он спохватился:

– А когда же к нам?.. – но, еще не закончив, понял, как-то догадался, что Мишуша не ответит. А тот сказал, будто не слышал ничего:

– Значит, теперь уже дорогу вспомнил? Так заходи же, слышишь, Юра? Заходи. – И отвернулся.

...Он шел и думал, что, конечно же, зайдет – это теперь так ясно было. Шел и не знал, что, побывав у дяди перед праздником, он в следующий раз увидит его только через год, и эта встреча их будет уже последней тут, в знакомом с детства старом деревянном доме на тихой Железнодорожной улице, за Западным мостом... Если бы кто-нибудь ему сейчас сказал, что так получится, он просто рассмеялся бы тому в лицо.

Глава девятая

Начало июня. По-настоящему летний, почти жаркий день. Автобусное кольцо рядом с кладбищем.

– Я сразу тут и развернусь, – сказал таксист и, цепко перехватывая руль, набычившись, круто послал машину в левый поворот.

Асфальтовый, залитый солнцем круг возле кирпичных ворот понесся вправо, за спину, цветной каруселью: таблица

с красной буквой «А», горчично-желтые бока «Икарусов» и дальше, с краю, будто отнесенные центробежной силой, стайки блестящих ярким лаком «Жигулей».

Вся эта городская, металлическая, скоростная жизнь уверенно присутствовала здесь, между зеленым полем и черепичной стеной, пестрела привычными для глаза красками и, вынужденная только на время поутихнуть, присмиреть, показывала своим видом, что вовсе и не думает тут оставаться, готовая опять сорваться и лететь, нестись по улицам, дрожа нутром от нетерпения на перекрестках.

Лидия Казимировна, выйдя из машины, посмотрела на часы и озабоченно спросила:

– А как с такси потом?

– Уедем как-нибудь, – ответил Антоневиц, разглядывая неуклюжие кирпичные ворота.

Возле них, за ведрами и банками с цветами, сидели пожилые женщины в платках и кофтах. Никто у них не покупал. Цветы были несвежие, женщины поливали их из кружек, вода стекала на асфальт, он был здесь мокрый, грязный. Лидия Казимировна приостановилась у цветов, но тут же двинулась дальше, решительно сказав: «Нет, не возьму». Миновав ворота, она быстро, деловито огляделась, точно желая лишний раз в чем-то удостовериться, и, обернув к нему сухое, энергичное и напряженное лицо с прищуренными близорукими глазами, спросила:

– Ну, как думаешь – не опоздали? – И сразу же ответила сама: – Нет, не должны. Постой здесь, Юра. А я только зайду спросить, где сегодня...

– Я сам схожу, – сказал Антоневиц, но мать отрезала:

– Остайся, ты не знаешь.

И уже быстро шла, лавируя среди неспешно двигавшихся ей навстречу мужчин с хозяйственными сумками, их жен и согнутых, одетых в темное старушек, – такая маленькая, лег-

кая, прямая, с узлом седых жестких волос на голове, не то чтоб просто поднятой, а вскинутой чуть ли не с вызовом кому-то... Не признающая свой пенсионный возраст, отринувшая даже мысль о нем, неугомонная, заядлая общественница городского управления кинофикации, всегда готовая вмешаться и участвовать, быть непреклонной и решительной во всем, где только есть возможность действовать, организовывать, настаивать и добиваться... «Она, она... сколько я помню – все такая же, – глядя ей вслед, подумал Антоневи́ч. – Даже и здесь». Он почувствовал, как губы трогает улыбка, и тут же к горлу подкатился теплый ком.

Серый автобус с черной полосой на боку медленно проехал в главную аллею, и люди в нем сидели спинами к окнам.

– Юра! – послышался вдруг требовательный голос матери: Лидия Казимировна уже шагала от конторы – не к Антоневи́чу, а по дорожке вдоль стены. Как только он догнал ее, она, уже заметно возбужденная, сказала:

– Это они. Я видела их из окна конторы. Только они делают крюк – это такой маршрут здесь, мне сказали... А мы выходим напрямиком... Успеть бы.

– Вот постояли бы в воротах, так и не пришлось бы и бежать теперь, – сказал он. И, видя, как от частого и напряженного дыхания острится и бледнеет ее нос с подвижными и тонкими ноздрями, добавил: – И что там было узнавать? Чуть подождать – и ты бы уже с ними ехала, не волновалась.

Лидия Казимировна молчала – казалось, она вся сейчас ушла в эту свою старательную спешку и не позволит себе тратить силы в разговоре. Но она все-таки заговорила, и Антоневи́ч мысленно ругнул себя за то, что не сдержался.

– Я все узнала... Все узнала, – трудно дыша, твердила мать, не отрывая взгляда от дорожки. – Я знаю, что я делаю... Я, слава богу, еще на ногах. Может, мне рано еще... в тот автобус...

Когда они пришли на место, оказалось, что надо обождать, пока площадку перед легонькой красной трибуной освободит процессия, приехавшая сюда раньше.

– Здесь тоже очередь, – глухо сказала мать, а он подумал: «Какая очередь? Это конвейер...»

Как только завелся мотор стоявшего поодаль серого автобуса, Лидия Казимировна двинулась вперед, к площадке, и Антоневи́ч пошел за ней, чтобы помочь: он, собственно, за этим и приехал – мать беспокоилась, что выйдет заминка, если не хватит мужских рук. Но все сошло благополучно и без него.

«Она что – будет выступать?» – подумал он через минуту, заметив как Лидия Казимировна приглаживает волосы и поправляет воротничок блузки. Но выступать готовилась не мать, а низенький плотный мужчина с пышной черной шевелюрой, и Антоневи́ч, поняв это, успокоился.

– Товарищи! – Начал мужчина неожиданно высоким, нервным голосом. – Сегодня мы провожаем... – и было видно, как он недоволен своим волнением и как старается его перебороть и говорить ровнее, тише.

А его слушатели – было их всего человек десять – стояли выпрямившись, с неподвижностью торжественной и уважительной, но без той горестно-страдальческой окаменелости, с какой стоят в такой момент родные и близкие.

Краткая речь с простыми, суховатыми словами, но сказанная от волнения с чувством, подошла к концу, и Антоневи́ч, стоявший рядом с матерью, уже хотел тихонько отойти.

Мать, к удивлению Антоневи́ча, попрощалась со всеми и, взяв его под руку, пошла не к выходу, а в глубь, между рядами оград и памятников.

– У меня часа два есть, хочу на вокзал успеть, проводить знакомых... – говорила она. И Антоневи́ч вспомнил ее беспокойство о такси еще там, у кирпичных ворот, когда они только приехали.

– Нет, Юра, нет, тут не волнение подвело его, – сказала мать, словно продолжая начатый им разговор, хотя Антонец молчал. – Да, да, не спорь со мной. Завертелись, забубнились в разных добрых напутствиях, укатались в словах. А что делать? Ах, дура я – мне, мне надо было выступать. Я не прощу себе... Бедная Ядвига Иосифовна, никого своих у нее давно уже не было. Одна-одинешенька. Последний год весь проболела. Только иногда в «Пионере» билетершу подменяла...

Мать говорила, Антонец слушал и не слушал, думал рассеянно: «Куда же мы идем?»

Была суббота, теплый, полный солнца день, и здесь, среди еще прозрачной молодой зелени хрупких березок, кленов, тонких лиственниц, везде виднелись платья женщин, а кое-где и белые детские панамки; мужчины в рубашках с закатанными рукавами, а то и в майках, перекрашивали ограды, их пиджаки висели на открытых крошечных калитках.

Антонец, в свои тридцать девять лет бывавший на кладбищах лишь два или три раза, когда приходилось хоронить кого-нибудь из умерших сослуживцев (последний раз – любимца их академического института профессора Саульского), как и многие мужчины, втайне не выносил и неосознанно даже слегка побаивался этих мест. Но теперь он с облегчением отметил, что не томится, не ждет, когда же можно будет, наконец, уйти.

Негромкие голоса людей, занятых здесь как бы совсем обыденными, чуть ли не домашними делами, яркий солнечный свет, запах свежей, прогретой травы и мерно удаляющийся в летнем небе звук самолета – все это действовало как-то успокаивающе. И все было таким, что хотелось представить – и уже казалось – что никого больше не будут хоронить не только здесь, но и нигде и никогда... Как будто это происходило раньше, а теперь уже – все, кончилось навсегда, и людям осталось только бывать здесь, помня о тех, с кем случилось такое, сле-

дять, чтобы памятные места сохранялись в надлежащем виде, обновлять их, неторопливо переговариваясь и перекусывая в минуты отдыха на скамеечках внутри оград или просто на траве.

– Пришли, – сказала Лидия Казимировна, останавливаясь перед голубой невысокой оградой.

Антоневич, словно очнувшись от забытья, посмотрел на мать, еще ничего не понимая, и проследил за ее взглядом поверх тонких металлических прутьев. И, еще не читая надписей, даже не рассмотрев их сквозь пучки травы, вдруг понял, что это могилы бабушки и дяди Миши, маминого брата, сказав себе: «А-а, значит, это здесь», – так, будто с самого начала знал, что они ищут.

И в первые секунды – ничего, ни удивления, ни растерянности, ни смущения. Только спокойное и даже равнодушное, если не туповатое, согласие вот с этой внешней непреложностью, наглядностью самого факта, – миг, когда принимаешь что-то лишь глазами, но ничего еще не чувствуешь от неожиданности, просто не готов.

Просунув пальцы между прутьями ограды, Лидия Казимировна взялась за крючок калиточки, он не поддавался, и Антоневич быстро и охотно, почти обрадовавшись возможности что-то сделать, шагнул вперед и осторожно отстранил ее сухую, в темных пятнах, руку. Расшатывая заржавевший в тесной петельке крючок, он вспомнил, что мать ни разу даже словом не обмолвилась о том, куда они пойдут сегодня после похорон Гриневской, как будто это разумелось само собой.

«Она забыла. Просто не помнит, что я никогда и не был здесь», – подумал он, тут же поймав себя на том, что и не хочет ничего напоминать ей. И только когда мать уже склонилась, выпалывая с цветников траву, он, словно осмелев, приблизился, чтобы прочесть все то, чего и ждал, к чему уже был подготовлен.

И сразу крупно бросилась в глаза странно-знакомая и чем-то здесь вдруг поразившая фамилия – его фамилия, фамилия и матери, и дяди, ее брата.

В твердой четкости выбитых на камне слов была и строгость, и какая-то торжественность, но ничего от дяди Миши, от того Мишуши...

Он никогда его так полным именем и не назвал, ни вслух, ни про себя. Даже потом, когда тот уже только вспоминался... О том, что вспоминалось, он матери не говорил.

Они сидели на скамеечке, покрашенной, как и ограда, голубой краской. Мать отдыхала, опершись о колени, держала руки вытянутыми перед собой, кверху ладонями, стараясь не запачкать юбку. И он долго, не отрываясь, смотрел, как на ее бледном запястье возле ремешка часов все бьется, бьется тоненькая жилка, и понимал, что это ее сердце гонит кровь, и думал с нежностью и в то же время с незнакомой и пугающей болью: «Она ведь уже старенькая... А не признает, даже и знать не хочет. И не скажешь...»

Он потянулся к ее руке, ослабил ремешок, чуть сдвинув его книзу.

– Жмет, ведь, наверное?

Мать промолчала, даже не взглянув на руку. Потом сказала:

– Надо убрать, что я тут выполола, отнести...

Он вынул из портфеля две газеты, свернул большой кулек и быстро все собрал. А мать сказала, что по дороге должен быть мусорный ящик, и Антоневиич снова сел с ней рядом, закурил. Оглядывая цветники и плиты, он рассеянно отметил, что левая сторона ограды ближе к могиле дяди, чем правая – к бабушкиной. Он уже было собрался что-то сказать, как вдруг мать заговорила, точно споря с кем-то, убеждая в своей правоте:

– Нет, это ненормально, ненормально... Чтоб старики своих детей переживали, – так не должно... Ведь не война же. Это не по природе. Всему есть свой черед.

А он, не сразу догадавшись, о чем она, ответил осторожно:

– Они же в один год...

– Нет, все равно бабушка позже...

И, помолчав, что-то еще добавила, но он уже почти не слушал – он думал о Мишуше, дяде Мише. О том, как они виделись в последний раз, в тот сумасшедший майский вечер пятьдесят девятого.

«Что ж это было?» – думал Антоневи́ч и вспоминал, чуть ли не морщась от стыда: пирушка с танцами перед последним государственным экзаменом... Да, и в нелепом, бестолковом гаме, в море по колено – она: и вызов, и призыв одновременно, столичный жанр с печатью выпускницы ВГИКа, остроты и рискованная смелость анекдотов вместе с рассказами о женихе в Москве... «А хочешь, позвоню сейчас, скажу, что конец фильма, пусть не ждет невесту?» – «Зачем?» – «Ах, здесь ты мне не подыграл!.. Языковеды будущие все такие мямли?» А на булыжной старой площади с маленьким сквериком вся эта карусель вдруг остановилась: сломался каблучок. Игра кончилась. Все угрожало сделаться обыкновенным, скучным. И он, оставив ее на скамейке, учуяв шанс на сотворение маленького чуда, метнулся к телефонной будке, позвонить домой – вспомнил, что дядя Миша переехал, живет теперь где-то в ближайших к этой площади кварталах. Мать сняла трубку, он запомнил адрес и через минуту уже стоял перед дверью в полуподвал в конце глухого Музыкального переулочка, сжимал в руке туфельку с отвисшим каблучком.

А дальше – почему-то лишь отрывочно, с провалами: чужое, словно бы изглоданное нездоровьем, бледное лицо Мишуши, нетрезвый и смущенно падающий мимо взгляд. Голая лампочка под потолком и кое-как побеленные мелом стены. А над столом – тот типографский лист о выборах народных судей и народных заседателей; на правом снимке – мать. «Вот голосую за нее, за нашу Лиду, – сказал Мишуша, сняв уже ту-

фельку с сапожной лапы. – Готово. А ты Нелю где оставил?» Он, торопясь и неожиданно для самого себя смущаясь, объяснил, что ждет его не Неля, что с Нелей все давно кончилось, поросло быльем. Мишуша закивал с преувеличенно-согласным видом выпившего человека, потом сказал: «Жаль... Добрая она душа. Красивая, а, видно, не везет... Я с год назад как-то встречал ее». А он хотел его спросить, зачем тот переехал и оказался здесь, и отчего стал весь такой, – но не спросил, уже не вспомнить, что там помешало...

Зато отчетливо, как если бы сейчас, помнится: он сунул в карман руку за деньгами и тут же спохватился, почувствовал, как приливает кровь к лицу, и замер, сжав в кармане теплую бумажку, но – поздно, уже не поправить и не возратить, не спрятать этого движения. «Стоп, Юра, не сори, – услышал он спокойный, протрезвевший голос. – Ты мне не должен ничего. Ну, будь здоров?..» И что-то как отрезалось. Или же просто оборвалась слабенькая нитка. Последнее, что он тогда запомнил, что увидел, осмелившись поднять глаза, уже в дверях, – был взгляд Мишуши. Взгляд, которым спрашивают, все ли ясно.

Все было ясно? Может быть. Только – скорей, скорей, вверх по ступенькам и переулком – к свету фонарей, опять в шелковый воздух новенькой весны с зажатой в руке туфелькой, навстречу возгласам веселого недоумения, восхищения – этой награде за свою удачливость и ловкость... Да, а назавтра, кажется, он дома рассказал, что повидался с дядей Мишей: «Помоему, он... Ну, в общем, нездоров...» – «Он погибает, разве ты не понял? – сказала мать. – Так далеко зашло... А не подступишься – вот только и характера, что обижаться может». И тогда бабушка из своего угла, со странно ожившим и ничего хорошего не предвещающим лицом: «Не отпевай еще... Вы отступились от Миши, отступились...» – «Мама! – взвился звенящий, тонкий крик. – А то, что он меня позорит этим, ты не видишь?» Бабушка закрылась темными руками, покачала

головой: «И как предатели – от своего...» Мать снова вскинулась, шагнула к ней, и тут же он услышал, даже не узнав сперва, свой резкий голос: «Мама!..» Мать, словно бы споткнувшись обо что-то, остановилась и, вздернув плечи, выбежала вон из комнаты.

«Вот так и было...» – чуть не вслух подумал Антоневиц, сидя возле могил рядом с молчавшей матерью.

Еще подумалось: ну хоть теперь-то уже «все ясно?» Или – как раньше, только на мгновение, чтобы, довольствуясь этим, тут же оставить понятое за спиной и сломя голову лететь куда-то дальше, веря, что все потом удастся объяснить, исправить или искупить?..

Каким же это образом он умудрился даже не увильнуть, а просто выпасть из того, что на обеих плитах обозначено как даты смерти бабушки и дяди, – выпасть из тех событий (похороны, поминки) так незаметно, что и мать не помнит, и потом почти два десятка лет не возникать у памятного места тех людей – теперь уже единственного места, где можно собираться всей семьей? Он лежал пластом с воспалением легких, когда хоронили дядю. Когда это случилось с бабушкой, он только выехал в свой первый отпуск, в Крым, и мать, конечно же, ему не сообщила. Ну а потом – это всегда потом. Слежалось в памяти, осело, сгладилось.

Он даже не участвовал в хлопотах с оградой, плитами – мать как-то незаметно все сделала сама, с помощью дальних родственников и знакомых. То ли действительно старалась не отвлекать его, то ли была уверена, как и всегда, что он ничего не понимает в этом. Странно, но мать как будто даже не особенно заботилась, чтобы он бывал здесь с нею...

С могучим и звенящим грохотом невысоко над кладбищем шел ТУ-134. И Антоневиц, подняв голову, смотрел, как рассекает яркую голубизну словно литая серебристая стрела. С каким-то почти школьным удивлением он представил, как

эта, в сотню тонн, махина несет себя не столько тонкими легкими крыльями, сколько вгрызаясь мощными турбинами в пространство, заглатывая его внутрь и проедавая себе путь в невидимой и бесконечной глубине воздуха.

– Ну что ж, пора, наверное... – Лидия Казимировна встала со скамеечки.

Он поспешил подняться тоже – ему показалось, что он слишком долго смотрит на самолет, словно зависнувший вверху на растянувшееся, длинное мгновение. Но тот уже прошел. За ним обваливался, удаляясь, гром – будто лавина времени сорвалась в прошлое прямо у них над головой.

Закрыв калиточку, мать задержала руки между прутьев на перекладине, оглядывая все внутри ограды.

– Ты вспоминаешь Мишу иногда? – спросила она вдруг спокойным, тихим голосом. И он, не ожидавший этого вопроса, кивнул, еще не думая, только боясь, чтобы не вышла пауза.

– Знаешь, – сказала мать, – мне кажется, ему всегда хотелось быть с тобой, как с сыном, понимаешь? Ну, просто думать так, воображать. Жизни своей он устроить не сумел, что говорить... И, может, ты – это и было все, что у него оставалось. Особенно в последнее время...

Лидия Казимировна сняла с ограды сумку. Они пошли, и он молчал, просто не знал, что говорить. Но мать, он чувствовал, и не ждала ответа.

Глава десятая

Полумгла внутри желтой «Волги»; машина старая, разбитая; душно, пахнет теплым бензином. Шофер немолодой и чем-то сильно недовольный.

Свободное такси они нашли довольно быстро. Антонец сел с Лидией Казимировной сзади, она сказала: «На вок-

зал» – и успокоено вздохнула. Он решил, что выйдет у вокзала вместе с ней, но ожидать, пока она проводит своих знакомых, не будет, а поедет дальше троллейбусом или пойдет пешком: теплынь, конец недели, спешить некуда. Жили они по-прежнему на старом месте вдвоем, семьей он все еще не обзавелся.

Ехали молча.

Справа за боковым стеклом шло поле ячменя, еще тускло-зеленого, с серебристым отливом, и тонкие треножники электропередачи, взлетая и спускаясь по склонам, убегали к самому краю неба. Там, в дымчатой полоске горизонта, темнел далекий лес.

Но скоро все это исчезло за спиной, как оборвалось. Уже неслись навстречу башни нового микрорайона, бульдозеры срезали островки диких садов, и желтоватое пыльное марево висело впереди. Уже сплошной громадой надвигался город, кативший свой тяжелый неумолчный гул.

Таксист включил приемник.

Что-то скреблось, пищало, потом пробилась музыка, и Антоневи́ч сразу же узнал ее и усмехнулся. Она была из давнего житья-бытья на Железнодорожной улице. Из той далекой жизни, которая, иной раз кажется, и до сих пор еще гудит в проводах, плывет клубами сирени и вскрикивает паровозными голосами где-нибудь там, за серыми каменными опорами Западного моста... Знакомый, начатый аккордеоном, танго-мотив. Все тот же, нестареющий, эстрадный тенор, самозабвенно верящий в свои слова.

Далекий мир старых, заигранных пластинок! Он стал звучать теперь в программах музыкальных передач как снисходительная, ироничная мода на музыку давно ушедших лет. Здесь можно слышать голоса и тех 50-х, когда послевоенный быт, поднявшись над руинами 40-х, уже обрел лицо, но в своих песенках еще сбивался на что-то довоенное и полное наивного интима, что оборвалось страшным временем войны,

осталось недослушанным у взрослых и повторилось в первой музыке детей, девчонок и юнцов на танцплощадках и во дворах с динамиком в окне.

Так было все и здесь, вот в этом городе, подумал Антонец. И ничего из этого теперь уже нет. Не слышно больше тут, за довоенным еще Западным мостом, и паровозных криков.

Нет больше той высокой девушки в короткой и потертой шубке, желтоволосой, с темными, чуть удивленными глазами на круглом матовом лице. Она уехала куда-то или, может, вышла замуж. А ведь тогда, давным-давно, весь город для него был полон ею: сырая уличная мгла, запахи оттепели и та щемящая и сладкая тревога, тянувшая на бледный свет вечерних фонарей, и музыка с веранды в летнем парке – в этом он плыл и год, и два. Все это было ею, пока он, обозясь, не убедил себя, что чувство без ответа унижает. Пока он мстительно не хватился за мысли о достоинстве и гордости, сказав себе, что в этой девушке и не могло быть ничего такого, ради чего стоило бы забыть себя.

Он не забыл себя и ради другого человека. Тот человек как раз и забывал себя ради других, ради него, вовсе не помня, не заботясь о таких вещах, как самолюбие; он не выдерживал какой-то там дистанции между собой и им, своим племянником, не беспокоился о форме их отношений... Да, мать права. Наверное, это и было содержанием или, по крайней мере, самой важной частью жизни дяди. Той жизни, где ему хотелось оставаться всегда таким, каким он и являлся на самом деле, – пусть незаметным, мягким, непрактичным, но только именно собой и никаким иным... Прав ли он был? Кто знает. «Не мне его судить», – подумал Антонец, рассеянно прислушиваясь к музыке в машине.

Полузабытое и словно выцветшее время то приближалось с этой музыкой своими голосами, лицами, то снова отдалялось, глушилось треском из приемника под ветровым стеклом.

Слушая музыку, он пробовал всмотреться в разрозненные и без связи возникавшие перед глазами обрывки одной истории. Может, это была история о нем, обыкновенном юноше, которому, как всем в том возрасте, хотелось, чтобы его любили и чтобы кто-то обязательно узнал и разделил то сокровенное и лучшее, что затаенно жило в нем надеждой и предчувствием такого узнавания. Но рядом с этой простенькой, знакомой всем историей шла и другая – мимо нее он тогда прожил, словно пробежал. Это была история привязанности и любви к нему, ко всей семье, немало вынесшего в жизни, доброго, уступчивого человека – любви смущавшейся и не желавшей обнаруживать себя.

Тот человек – сутулый, хрипло кашлявший, с прокуренными редкими зубами и ласковой улыбкой черных глаз, – тот человек увиделся сейчас так ясно, близко... И мысль, что все происходившее в том времени уже останется таким и навсегда, сколько ни оборачивайся к прежнему в надежде рассмотреть там оправданье, – мысль эта поразила Антоневиича своей неумолимостью и горькой простотой. Вот эта неподатливость и просто непоколебимость прошлого – и сам ты, со своими уже тщетными попытками дозваться, достучаться, заставить выслушать себя и что-то объяснить... Он даже и представил: маленькая суетливая фигурка, отчаянно жестикулируя, все говорит и говорит, взывая к прожитому и надеясь получить хоть реплику в ответ, чтоб зацепиться; а это прожитое, непреложное в себе, все удаляется, но не в забвение, не навсегда, но лишь по кругу, с заходом в собственное, давнишнее время, чтобы потом опять неотвратимо выступить, напомнить о себе, – и тем сильней, чем меньше ожидаешь.

И Антоневиич безотчетно, по привычке, еще пытался поймать это мелькнувшее перед собой какой-нибудь формулировкой, загнать в компактное сооружение из слов. Но в то же время чувствовал, что все эти попытки – только старание как-то

назвать ту суть, которая и без того понятна, уже застряла в нем, сидит где-то внутри.

...Такси стояло перед красным глазом светофора. Вокзал уже был виден впереди. Перед машиной двигался спешащий люд. Прошли две девушки, высокие и тонкие, в голубых джинсах, и джинсы были нарисованы на их полиэтиленовых мешках. Мать, сгорбившись, искала что-то в сумке. И Антоневиц, вспомнив то, о чем хотел спросить еще на кладбище, сказал:

– Мне показалось, там ограда вправо сдвинута, – зачем?..

– Не сдвинута, – сказала мать голосом занятого человека, не подымая головы. – Это я место там оставила...

«Какое?» – хотел спросить он, но почувствовал, как все в нем уже воспротивилось ответу, – и не спросил, чтобы ответ этот не прозвучал.

– Да, для себя. А как ты думал... – мать продолжала рыться в своей сумке. – Когда-то же ведь надо... ставить все на место.

– Приехали, вокзал, – сказал водитель.

Западный мост был совсем близко, метрах в двухстах. Как и всегда, его скрывала густая зелень тополей – громадных, старых. Как и всегда, весь привокзальный сквер напоминал бивак: люди сидели на скамейках, на траве, закусывали или же дремали. Как и всегда, по одну сторону сквера медленно, тихо двигались зеленые поезда, а по другую грохотали красные трамваи...

Все еще было на своих местах, привычно близко – еще слишком близко, чтобы не вспоминать.